



ВОСПОМИНАНИЯ  
СОЛОВЕЦКИХ  
УЗНИКОВ



1925–1931



# ВОСПОМИНАНИЯ СОЛОВЕЦКИХ УЗНИКОВ

1925—1931



ИЗДАНИЕ  
СОЛОВЕЦКОГО  
ЖУРНАЛА

2016

УДК 94(47)(092)+94(470.11)(092)+  
271.2(470.11)(092)  
ББК 63.3(2)61-361ю14+  
63.3(2Рос-4Арх, 99Соловки)61-61ю14+  
86.372.24-3ю14  
В 77

*Рекомендовано к публикации  
Издательским советом Русской Православной Церкви  
(ИС Р16-608-0311)*

Рецензенты:

доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института  
языка, литературы и истории КарНЦ РАН Е. Г. Соини  
доктор геолого-минералогических наук, профессор РГУ нефти и газа  
им. И. М. Губкина, академик РАЕН П. В. Флоренский  
кандидат филологических наук, руководитель историко-просветительского  
общества «Ингушский мемориал» М. Д. Яндиева

Научный консультант:

доктор филологических наук, заместитель директора ИМЛИ РАН,  
заведующая Отделом рукописей Д. С. Московская

---

Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь  
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) благодарит за  
помощь в выпуске четвертого тома серии «Воспоминания соловецких узников»  
Губернатора Архангельской области **Игоря Анатольевича Орлова**,  
руководителя агентства по развитию Соловецкого архипелага  
**Романа Викторовича Балашова**,



а также  
**Фонд развития  
Соловецкого архипелага**

---

**Воспоминания соловецких узников** / [отв. ред.: иерей Вячеслав Умнягин]. —  
В 77 Соловки: Изд. Соловецкого монастыря, 2013. — (Книжная серия «**Воспоминания  
соловецких узников 1923—1939** гг.»). Т. 4: 1925—1931. — 2016. — 559 с., ил.  
ISBN 978-5-91942-038-5.

Агентство СІР Архангельской ОНБ.

УДК 94(47)(092)+94(470.11)(092)+  
271.2(470.11)(092)  
ББК 63.3(2)61-361ю14+  
63.3(2Рос-4Арх, 99Соловки)61-361ю14+  
86.372.24-3ю14


Четвертый том книжной серии посвящен 110-летию со дня рождения академика Д. С. Лихачева. Помимо его воспоминаний, в сборник вошли мемуары других заключенных Соловецкого лагеря особого назначения, которые отбывали наказание в 1925—1931 гг. Издание включает в себя научные статьи и справочные материалы по истории и географии СЛОНа. Книга ориентирована на самый широкий круг читателей и специалистов, интересующихся отечественной историей.

ISBN 978-5-91942-038-5

© Спасо-Преображенский Соловецкий  
ставропигиальный мужской монастырь, 2016

## СОДЕРЖАНИЕ

От редакции.....	7
О. Г. Волков. Соловки времени Д. С. Лихачева (1928–1931) .....	11
А. П. Яковлева. «Теперь такое благоприятное дело для доброделания и выявления себя христианином, какое редко бывает». Миряне — помощники ссылного и заключенного духовенства.....	41
Вячеслав Умнягин, иерей. Уголовники в воспоминаниях соловецких узников .....	53
А. Гуллотта. Соловецкая быль А. Д. Булыгина .....	64
<b>А. Д. Булыгин.</b> Соловецкая быль .....	68
Вячеслав Умнягин, иерей. Побег с Соловков анархиста К. Л. Власова-Уласса .....	112
<b>К. Л. Власов-Уласс.</b> Соловецкий изолятор.....	116
Е. А. Певак. <i>Идеалисты</i> в стране Советов .....	128
<b>Н. А. Журавлев.</b> Живут три друга .....	133
М. Е. Бабичева. Роман или все же мемуары? (О произведении А. П. Скрипниковой «Соловки»).....	162
<b>А. П. Скрипникова.</b> Соловки.....	171
О. В. Панченко. Д. С. Лихачев в работе над «Воспоминаниями»: осмысление духовного опыта Соловецкого лагеря.....	326
<b>Д. С. Лихачев.</b> Картежные игры уголовников (Из работ Криминологического кабинета) .....	350
Соловки. 1928–1931 годы.....	360
Святая Русь и Соловецкие мученики по рассказу одного из узников (Беседа Д. С. Лихачева с А. Шишкиным) .....	369
Воспоминания.....	373



Топографический указатель .....	512
Именной указатель .....	519
Глоссарий и список аббревиатур .....	545
М. А. Смирнова. Криминальная жизнь Соловецкого лагеря особого назначения. Ее исследования. Библиографический список .....	549

О. В. Панченко

**Д. С. ЛИХАЧЕВ В РАБОТЕ НАД «ВОСПОМИНАНИЯМИ»:  
ОСМЫСЛЕНИЕ ДУХОВНОГО ОПЫТА  
СОЛОВЕЦКОГО ЛАГЕРЯ**

*События избирают себе места,  
чтобы свершиться именно в них.  
Старая Россия умирала в Соловках.  
Нет, я неверно сказал — не старая Россия  
умирала здесь, а какая-то ее часть:  
интеллигенция, духовенство,  
отдельные участники белого движения,  
не выехавшие за границы России.  
Здесь был последний уголок свободы,  
духовной жизни.*

**Д. С. Лихачев. Из первой редакции  
Воспоминаний о Соловецком лагере (1966 г.)**

Д. С. Лихачев родился в Петербурге 15 (28) ноября 1906 г. Отец его был инженером-электриком, заведующим электростанцией Первой государственной типографии (Печатного Двора). Мать происходила из купеческой старообрядческой семьи. По воспоминаниям самого Дмитрия Сергеевича, родители его увлекались балетом Мариинского театра. Летом они выезжали на дачу в Куоккалу, где семья Лихачевых проводила время в кругу артистической интеллигенции.

В школьные годы Д. С. Лихачев обучался в реальном училище К. И. Мая, потом — в школе имени Л. Д. Лентовской. В старших классах он испытал влияние своего школьного учителя И. М. Андреевского, по приглашению которого стал посещать собиравшийся у него на дому кружок «Хельфернак» («Художественно-литературная, философская и научная академия»). По-видимому, не меньшее влияние на него оказал другой его учитель — философ С. А. Алексеев-Аскольдов, который также был участником Хельфернака, а позднее — Братства прп. Серафима Саровского.

В 1923 г. Д. С. Лихачев поступил в Петроградский университет, где учился сразу на двух отделениях: на романо-германском (по специальности «Английская литература») и славяно-русском. Там он прошел настоящую научную школу у профессоров В. К. Мюллера, под руководством которого занимался творчеством Шекспира, В. М. Жирмунского (английская поэзия начала XIX в. и Диккенс), С. К. Боянуса (англо-саксонский и среднеанглийский языки), А. А. Смирнова (старофранцузский), В. Ф. Шишмарева (история французской литературы), Д. И. Абрамовича (древнерусская литература), Л. В. Щербы (пушкинский семинар), В. Е. Евгеньева-Максимова, приобщившего его к работе с рукописями, А. И. Введенского (философия и логика), М. Я. Басова (психология), слушал лекции С. П. Обнорского, Л. П. Якубинского, Б. М. Эйхенбаума, В. Л. Комаровича. В 1928 г. Д. С. Лихачев написал две дипломные работы: «Шекспир в России в XVIII веке» и «Повести о патриархе Никоне».

8 февраля 1928 г., в год окончания университета, 21-летний Лихачев был арестован за участие в «контрреволюционных» организациях — Космической Академии Наук и Братстве прп. Серафима Саровского. В доме предварительного заключения на Шпалерной он провел девять месяцев, после чего был осужден на пять лет лагерей.

В Соловецком лагере Д. С. Лихачев провел три года — с ноября 1928 по ноябрь 1931 г. Еще девять месяцев работал в Званке и Тихвине — на строительстве Беломорско-Балтийского канала. На Соловках он приобрел необычайно важный жизненный опыт, который окончательно сформировал его как личность и служил ему духовной опорой всю оставшуюся жизнь (1906—1999)<sup>1</sup>.

\*\*\*

Годы, проведенные в Соловецком лагере, Д. С. Лихачев считал самыми важными в своей жизни. Здесь его окружали замечательные люди — последние представители культуры Серебряного века (А. А. Мейер, Г. О. Гордон, Ю. Н. Данзас, А. П. Сухов, Н. Н. Горский). В этот же круг входили и его ровесники — поэты В. Кемецкий, Ю. Казарновский, Д. Шипчинский, философы А. Бардыгин, В. Раздольский и многие другие. На Соловках Д. С. Лихачев встретил и замечательных представителей русского духовенства, которым посвятил отдельный очерк в своих «Воспоминаниях»: епископа Виктора Вятского, отца Александра Филипенко, протоиерея Николая Пискановского (ставшего его духовником). По его словам, это были люди, сохранившие в условиях лагеря

<sup>1</sup> Краткая биография и избранная библиография Д. С. Лихачева представлены в статье Православной энциклопедии, см.: Бобров А. Г. Лихачев Дмитрий Сергеевич // Православная энциклопедия. М., 2016. Т. 41 (в печати).

свое человеческое достоинство, «думавшие и осмыслявшие бытие в духовном масштабе»<sup>2</sup>. К числу их, безусловно, принадлежал и сам Д. С. Лихачев.

Представителей русской интеллигенции Д. С. Лихачев именует в своих мемуарах «людьми мысли». В образах же духовенства его память сохранила духовный свет (можно сказать, что их он относил к категории «людей света»). Он пишет про епископа Виктора Вятского, что у него были синие глаза и широкая улыбка и «от него исходило какое-то сияние доброты и веселости»<sup>3</sup>. Другим «светлым человеком» на Соловках, по словам Лихачева, был отец Николай Пискановский, «всегда в самых тяжелых обстоятельствах излучавший внутреннее спокойствие»<sup>4</sup>.

Многие из людей его круга, с кем он общался на Соловках, были сосланы сюда за участие в религиозно-философских кружках петроградской интеллигенции (речь идет, прежде всего, об обществе «Воскресение» и «Братстве Серафима Саровского»). Участником последнего был и сам Д. С. Лихачев. Позднее он объяснял репрессии против кружков интеллигенции в конце 1920-х гг. желанием большевистской власти не дать интеллигенции «восстановить права духа», отнятые у нее этой же властью<sup>5</sup>.

Но интеллигенция, по свидетельству Д. С. Лихачева, и в условиях лагеря сохраняла «силу и мужество и способность сопротивляться»<sup>6</sup>. Основным средством ее духовного сопротивления, вспоминает Д. С. Лихачев, была внутренняя свобода и независимость мысли. Способность мыслить, пишет Д. С. Лихачев, в условиях лагеря была главным способом сохранить себя, свою индивидуальность, душевное здоровье: «Только где-то в самой глубине души еще жило: мыслить — и тем умерять страдания! Мыслить — и тем оправдывать свое существование! Мыслить — и тем породить, расширять, углублять мыслимый мир, оздоравливающий совесть, <...> объединяющий людей по принципу соборности — духовного единства человечества»<sup>7</sup>.

Духовная жизнь интеллигенции на Соловках в конце 1920-х — начале 1930-х гг., пишет Д. С. Лихачев, была насыщена «воздухом культуры, которым

<sup>2</sup> Лихачев Д. С. Воспоминания // Лихачев Д. С. Настоящее издание. С. 409.

<sup>3</sup> Там же. С. 479. Фотографию епископа Виктора Д. С. Лихачев поместил впоследствии в своем кабинете на книжной полке.

<sup>4</sup> Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 479. Об отце Николае Пискановском см. кн.: Волков В. О. «От священства я не отрекись...» Священномученик Николай, протоиерей: лагерные письма православной семьи Пискановских. М., 2013.

<sup>5</sup> Об этом он рассказал в интервью Сергею Курехину, записанном в начале 1990-х гг. См.: «Одна единственная встреча». Реж. Н. Урвачева. 2006 г. Фильм-диалог академика Д. С. Лихачева и музыканта Сергея Курехина // <http://likhachev.fond.spb.ru/Movies/wmv/video.html>

<sup>6</sup> Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 374.

<sup>7</sup> Лихачев Д. С. Беседы прежних лет (из воспоминаний об интеллигенции 1920—1930-х годов) // Лихачев Д. С. Воспоминания. Раздумья. Работы разных лет. СПб., 2006. Т. 2. С. 448.



они дышали, и я вместе с ними»<sup>8</sup>. Он вспоминает о необычайном разнообразии форм культурной жизни и свободе творческого выражения, свойственной эпохе Серебряного века, осколки которой он встретил на Соловках. Спустя много лет он написал об этом в «Заметке к будущим воспоминаниям» (1959 г.), сохранившейся в черновике: «Так свободны могли быть только русские люди начала века, только люди вполне интеллигентные. Сейчас даже трудно вообразить себе ту степень свободы, которой мы все обладали в заключении. Чем больше было людей разномыслящих, тем больше была эта свобода. Кого только не было: проктофантазисты, самурай Нарита со всеми своими самурайскими убеждениями, Мейер и “мейеровцы”, православные священники, католические священники, масоны, теософы (сам автор Теософской энциклопедии Мёбус), армянский патриарх, “пулеметчик” Потто, Казаринов-Лефевр, в которого воплотился дух Людовика XVI, А. П. Сухов с его принятием всего и широкой художественной точкой зрения на мир (“психолог”) и т. д. и т. п. В этой возможности иметь свои взгляды, своё, и была свобода, а не в “пропуске” за кремль...»<sup>9</sup> Он вспоминал, что даже впряженные «вридлами» в сани для перевозки свиного навоза, он и его однодельцы — «латинствующая, французящая и английствующая квадрига»<sup>10</sup> — продолжали решать вопросы общего порядка, ведя беседу сразу на нескольких европейских языках.

Конечно, юному Д. С. Лихачеву на Соловках несказанно повезло: стараниями епископа Виктора и отца Николая Пискановского он попал на работу в Криминологический кабинет (Кримкаб), ставший благодаря философу А. А. Мейеру центром интеллектуальной жизни в Соловецком лагере. Впоследствии Д. С. Лихачев сам удивлялся иронии судьбы: лишенный свободы за участие в философских беседах «Братства Серафима Саровского», он обрел на Соловках счастливую возможность еще более глубокого общения с А. А. Мейером и членами кружка «Воскресение». Вот как писал об этом сам Д. С. Лихачев: «Кримкаб представлял собой на Соловках своеобразное продолжение кружка «Воскресение» с той только разницей, что «заседания» шли каждый день»<sup>11</sup>. «Для меня разговоры с Мейером в Кримкабе и всей окружавшей его соловецкой интеллигенцией были вторым (но первым по значению) университетом. Сколько я узнал, к какому высокому мышлению я приобщился! <...> Если бы можно было все записать, какие великолепные беседы, дискуссии, просто

<sup>8</sup> Лихачев Д. С. Беседы прежних лет... С. 448.

<sup>9</sup> Записная книжка Д. С. Лихачева 1959–1966 гг. (хранится в Отделе рукописей Пушкинского Дома, в фонде Д. С. Лихачева — Ф. 769).

<sup>10</sup> Лихачев Д. С. Соловецкие записи. 1928–1930 // Лихачев Д. С. Работы ранних лет. Тверь, 1993. С. 29.

<sup>11</sup> Лихачев Д. С. Беседы прежних лет... С. 418.

споры, рассказы, рассуждения были бы сохранены для русской культуры! Была ли это своеобразная “Башня” Вячеслава Иванова? Пожалуй, даже значительнее, так как и длилось все дольше, и велись наши разговоры ежедневно»<sup>12</sup>.

Не случайно Д. С. Лихачев связывал духовную жизнь своего круга в Соловецком лагере с эпохой Серебряного века: «Можно сказать, что Серебряный век с его удивительным духом общения завершился для меня на Соловках. Разговоры, споры, даже целые диспуты в камере открыли мне, что культура — это когда вокруг тебя настоящие люди»<sup>13</sup>. Памяти этих замечательных людей Д. С. Лихачев посвятил в своих «Воспоминаниях» целый ряд очерков, объединенных под общим названием «Люди Соловков». До конца своей жизни он сохранял к ним чувство благодарности, вспоминая об «удивительной животворной силе, исходившей от старшего поколения русской интеллигенции»<sup>14</sup>.

Может быть, поэтому много лет спустя, в условиях уже окончательно пленившей страну советской идеологии, Д. С. Лихачев записал в черновике своих воспоминаний о Соловках пронзительные слова, что здесь и «был последний уголок свободы, духовной жизни» старой России<sup>15</sup>.

Еще одним из способов духовного сопротивления людей мысли, по воспоминаниям Д. С. Лихачева, был юмор, освобождающий смех. Показывая свое нарочито несерьезное отношение к лагерным порядкам, он и его товарищи подчеркивали их абсурдность и идиотизм: «Анекдоты, “хохмы”, остроты, шуточные обращения друг к другу, шуточные прозвища и арго, как проявление той же шутовщины, сглаживали ужас пребывания на Соловках. Юмор, ирония говорили нам: все это не настоящее»<sup>16</sup>. Отказываясь признавать над собой власть грубой силы, обнажая ее истинную природу, они делали ее беспомощной и смешной. Позднее эти идеи «смеха как мировоззрения», создающего особый «смеховой мир» — «кромешный», «изнаночный», «перевернутый», свободный от условностей, — легли в основу книги «“Смеховой мир” Древней Руси», написанной Д. С. Лихачевым совместно с А. М. Панченко (и второй их книги, написанной в соавторстве с Н. В. Поньрко)<sup>17</sup>.

Хорошо осознавая духовный смысл своего сопротивления, поэтическая молодежь его круга культивировала особый поэтический настрой духа, помогавший

<sup>12</sup> Лихачев Д. С. Беседы прежних лет... С. 416–417.

<sup>13</sup> Там же. С. 449.

<sup>14</sup> Лихачев Д. С. Воспоминания. С. 122.

<sup>15</sup> Записная книжка Д. С. Лихачева 1959–1966 гг. (ИРЛИ. Ф. 769). Запись сделана 8 ноября 1966 г., в годовщину октябрьского переворота.

<sup>16</sup> Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 410.

<sup>17</sup> Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976; Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984.

ей сохранять внутреннюю свободу. По признанию самого Дмитрия Сергеевича, он сам был «пьян поэзией», вместе с друзьями мог декламировать стихи часами: «Где-то внутри непрерывно звучала музыка. Все было поэтически приподнято. Поэзия была даже в смертях кругом, в драмах, в необычности жизни. Смерть не страшна при вере в бессмертие»<sup>18</sup>. По словам Д. С. Лихачева, он и его друзья жили тогда стихами Баратынского и только что вышедшего сборника О. Мандельштама «Камень»<sup>19</sup>.

Была у Д. С. Лихачева еще одна тайная область духовной свободы, связанная с его религиозной жизнью. Но об этом он предпочитал не рассказывать: «Есть вопросы, на которые я не знаю ответа. Думаю, на эти темы вообще нельзя говорить. Любовь. Вера... Об этом следует молчать. Отцы Церкви говорили: “Кто много и пристально на солнце смотрит, у того глаза повреждаются; кто Бога любопытно рассматривает, у того ум помрачается...”»<sup>20</sup>

Между тем хорошо известно, что Д. С. Лихачев был сослан на Соловки именно за участие в студенческом кружке (названном в шутку Космической Академией Наук) и религиозном обществе (Братстве прп. Серафима Саровского)<sup>21</sup>. Глубинная религиозность была духовным стержнем его личности и одновременно определяла вектор его судьбы. Православная традиция была унаследована им в детстве, в семье. По словам его внучки В. С. Зилитинкевич, «через всю жизнь он пронес то отношение к православию, которое было характерно для значительной части петербургской интеллигенции начала XX века»<sup>22</sup>. Отношение это было глубоко сердечным, не показным, тесно связанным с любовью к Родине и состраданием к ней.

Хорошо известны слова Д. С. Лихачева о переполнявшей его сердце любви-жалости к России в эпоху гонений на Русскую Церковь: «Многие убеждены, что любить Родину — это гордиться ею. Нет! Я воспитывался на другой любви — любви-жалости. <...> Чем шире развивались гонения на Церковь и чем многочисленнее становились расстрелы на “Гороховой два”, в Петропавловке, на

<sup>18</sup> Записная книжка Д. С. Лихачева 1959–1966 гг. (ИРЛИ. Ф. 769).

<sup>19</sup> Лихачев Д. С. Соловки. 1928–1931 годы // Настоящее издание. С. 368.

<sup>20</sup> Лихачев Д. С. Из записных книжек разных лет // Лихачев Д. С. Воспоминания. Раздумья. Работы разных лет. Т. 2. С. 494.

<sup>21</sup> См. об этом главы книги «Воспоминаний» Д. С. Лихачева — «Братство святого Серафима Саровского» и «Космическая Академия Наук». Согласно обвинительному заключению ГПУ, члены братства интересовались «вопросами богословия, жизнью святых, в особенности Серафима Саровского»; см.: Медведев Ю. «Воскресение»: К истории религиозно-философского кружка А. А. Мейера. С. 107 (здесь содержатся материалы не только о кружке «Воскресение», но и о Братстве Серафима Саровского). Подробнее о братстве см. также: Антонов В. В. Братство прп. Серафима Саровского: К истории православного движения в Петрограде // С.-Петербургские епархиальные ведомости. 1996. Вып. 16. Ч. 1. С. 44–49; Ч. 2. С. 93–99. По словам исследователя, целью братства было личное духовное подвижничество его членов (Там же. Вып. 16. Ч. 1. С. 47).

<sup>22</sup> В нем преломился весь XX в. // Новая газета, 2013 г. № 69, 28 июня.

Крестовском острове, в Стрельне и т. д., тем острее и острее ощущалась всеми нами жалость к погибающей России. <...> Мы не пели патриотических песен — мы плакали и молились»<sup>23</sup>.

По сути, это чувство любви-сострадания к погибающей России определило и выбор его профессионального пути. Как известно, он сделал его не в пользу европейских литератур, хотя и окончил романо-германское отделение и написал дипломную работу о восприятии Шекспира в России. Нет, он связал свою судьбу с исследованием литературы Древней Руси, потому что именно там видел истоки русской культуры — православной в своей основе, с чем так непримиримо боролась Советская власть.

Впоследствии он рассказал о мотивах, побудивших его к этому выбору, в письме к отцу Александру Киселеву, протопресвитеру Русской Православной Церкви Заграницей, который попросил его разъяснить его слова о «подлинной русской культуре, которая сокрыта в глубинах озера Светлояр и еще мало изучена и плохо понята», — о которой он говорит в своих работах с некоторым умолчанием<sup>24</sup>. В ответном письме Д. С. Лихачев написал об этом подробнее: «Действительно, в моих работах есть важное умолчание. Как я хотел, я бы не мог написать [в советское время. — О. П.] о значении православия, и именно древнерусского, искаженного в Новое время как Никоном и Петром, так и старообрядчеством, которое только в начале своего пути было право. <...> Но самая высшая точка созерцания (не рассуждения) истины — древнерусское православие. Оно поразительно. Это действительно созерцание истины, когда уста молчат и богословствовать не нужно, надо только жить в его лучах»<sup>25</sup>.

Таким образом, выбор жизненного пути, связанного с изучением «подлинной русской культуры, сокрытой в глубинах озера Светлояр», был сделан им еще в ранней молодости, в эпоху гонений на Русскую Церковь, из любви и сострадания к ней. В этом Д. С. Лихачев признается и на страницах своих «Воспоминаний»: «И с этим чувством жалости и печали я стал заниматься в университете с 1923 г. древней русской литературой и древнерусским искусством. Я хотел удержать в памяти Россию, как хотят удержать в памяти образ

<sup>23</sup> Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 375–376. Сострадание было одной из доминант его личности. Позже, уже во время заключения в Соловецком лагере, как рассказывает сам Д. С. Лихачев, он ходил, как пьяный, от сострадания к малолетним «вшивкам»: «это было уже не чувство, а что-то вроде болезни» (Там же. С. 401). А когда он увидел весь ужас пребывания заключенных в лесных лагерях, у него из сочувствия к ним начались язвенные боли, которые привели к внутреннему кровотечению (Там же. С. 442).

<sup>24</sup> Отец Александр Киселев, бывший когда-то духовником юного Алексея Ридигера (в годы молодости будущего патриарха), с 1991 г. проживал на покое в Донском монастыре. В свой приезд в Петербург в августе 1990 г. он посетил Пушкинский Дом, надеясь на встречу с Д. С. Лихачевым, но не застал его (время было отпускное) и написал ему это письмо.

<sup>25</sup> Ответ Д. С. Лихачева датирован 2 сентября 1990 г.



умирающей матери сидящие у ее постели дети, <...> рассказать о величии ее мученической жизни. Мои книги — это, в сущности, поминальные записочки, которые подают “за упокой”...»<sup>26</sup>

Но прежде судьбе было угодно испытать его в подвиге исповедничества. Находясь в доме предварительного заключения на Шпалерной, Д. С. Лихачев пришел к выводу, что человек сам «определяет свою судьбу, даже в том, что могло показаться случаем»<sup>27</sup>. Он осознал, что выбором своего пути он и его товарищи, «следуя традициям русской интеллигенции», сами определили свой арест — это была их «вольная судьба». Много лет спустя, осмысляя свой лагерный опыт, Д. С. Лихачев обогатит это понимание «судьбы» осознанием участия в ней Промысла Божия, не отменяющего при этом свободного выбора человека (о чем будет сказано дальше).

Говоря же о «вольном выборе» судьбы, Д. С. Лихачев, несомненно, понимал и то, что этот выбор был совершен им и его товарищами не по собственному произволению, но в согласии с духом Церкви, тысячи членов которой также осознанно пошли на страдания, добровольно сделав свой выбор.

Надо сказать, что Д. С. Лихачев, как и другие члены братства, был последователем митрополита Ленинградского Иосифа (Петровых), не принявшего декларацию митрополита Сергия. Все они были арестованы в феврале 1928-го года, и большинство из них было отправлено на Соловки. Д. С. Лихачев, как и И. М. Андреевский, получил пять лет лагерей.

О том, что этот выбор членов Братства Серафима Саровского был духовно зрячим, свидетельствует хранящийся в архиве Д. С. Лихачева важный документ, которому сам Дмитрий Сергеевич придавал большое значение. Речь идет о копии письма (датированного 27 апреля 1927 г.) оптинского старца Нектария к основателю Братства И. М. Андреевскому, которое свидетельствует о том, что участники Братства сверяли свои поступки с соборной мыслью Русской Церкви.

Упомянутое письмо сохранилось в материалах «Следственного дела» Братства, хранящегося в архиве управления ФСБ Санкт-Петербурга. Со «Следственным делом» Д. С. Лихачев смог познакомиться в начале 1990-х гг. Тогда же по его просьбе была сделана ксерокопия письма старца Нектария к И. М. Андреевскому, на которой Д. С. Лихачев сделал пометку: «Исключительно важное письмо в ответ на вопрос И. М. Андреевского о положении в Церкви». И хотя в самом письме старец Нектарий по вполне понятным причинам избегает каких-либо конкретных высказываний по вопросам церковной жизни, в том числе в адрес митрополита Сергия («Решение вашихъ вопросовъ, изложенныхъ въ письмѣ, мы отложимъ до личного

<sup>26</sup> Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 377.

<sup>27</sup> Там же. С. 395.

свидания, если то Господь благословить; тогда поговоримъ»), его письмо ясно свидетельствует о духовной связи членов Братства с последним оптинским старцем<sup>28</sup>.

Как видим, большевистский переворот и деятельность ГПИУ сделали свое дело. В эпоху гонений на Церковь значительная часть русской интеллигенции со всей остротой осознала себя ее чадами и пошла тем же путем исповедничества, что и православное духовенство. Встреча этих двух образованных сословий русского общества, разделенных на протяжении более двух столетий вследствие общей секуляризации культуры XVIII—XIX вв., состоялась на Соловках, где осужденные по церковным делам составляли значительное число заключенных.

Заметим, что судьба свела их не где-нибудь в ином месте, а здесь, на северных островах — месте страдания и святости. Именно так воспринимал Соловки и студент Дмитрий Лихачев, попавший сюда прямо с университетской скамьи. Как написал он потом в своих воспоминаниях: «В воротах я снял студенческую фуражку, с которой не расставался, перекрестился. До того я никогда не видел настоящего русского монастыря. И воспринял Соловки, Кремль не как новую тюрьму, а как святое место»<sup>29</sup>.

Заключение на Соловках Д. С. Лихачев считал главным событием своей жизни. Здесь, по его словам, он прошел второй свой университет и ясно осознал действие Промысла Божьего в своей судьбе. Ведь в самое первое утро своего пребывания на Соловках он чудесным образом встретил отца Николая Пискановского, который стал его духовным отцом<sup>30</sup>.

\*\*\*

Осознание Д. С. Лихачевым духовного смысла его лагерного опыта нашло отражение уже в 1-й редакции его «Воспоминаний» (1966 г.), сохранившейся в записной книжке 1959—1966 гг. Помимо собственно воспоминаний о лагере, она включает и несколько отступлений философского характера, одно из которых позволим себе привести. Поводом для него послужило, наверное, главное событие его жизни, когда он, спасаясь от расстрела, укрылся между пленниц на монастырском дворе, где пережил страшную ночь, после которой в душе его произошел духовный переворот: «Я понял следующее: каждый день — подарок Бога. Мне надо жить насущным днем, быть довольным тем, что я живу еще лишний день. И быть благодарным за каждый день. Поэтому не надо бояться ничего на свете. И еще <...>. Ясно, что вместо меня был “взят” кто-то другой. И жить надо мне за двоих. Чтобы перед тем, которого взяли за меня, не было стыдно!»<sup>31</sup>

<sup>28</sup> На это же указывает и одна из поминальных записок, читавшихся на молебнах Братства (приложенная к «Следственному делу»), которая начинается с имени иеромонаха Нектария Оптинского.

<sup>29</sup> Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 400.

<sup>30</sup> Там же. С. 401.

<sup>31</sup> Там же. С. 428.

Размышляя впоследствии о своей судьбе и судьбах тех, кого он встретил в лагере, Д. С. Лихачев пришел к собственной философии истории и судьбы человека в ней, особенно в эпоху исторических потрясений. Он сравнивает ход истории в периоды исторических катаклизмов с природной стихией, с метелью, противостоять которой человек не в силах. Приведем его размышление: «Меня поражает и всегда поражало: от какой малости зависит иногда все направление нашей жизни. Болезнь возникает от случайности. Мы выбираем профессию в возрасте, когда еще ничего не понимаем в жизни. Подслушанный доносчиком разговор решает нашу судьбу на многие годы. <...> Но моя жизнь зависела <...> от сотен ничтожных мелочей и тысяч ничтожных случайностей. Случайности и мелочи метут нашей жизнью. Метель метет нами как снегом<sup>32</sup>. Мы не имеем ничего прочного под собой. Земля нас не держит. Она обледенела. Нам не за что зацепиться, нечем впитаться в землю, чтобы задержать безумное вихрение жизни. Когда жизнь начинает бежать, когда “мятет, мятет по всей земле”, — больше всего чувствуешь свою беспомощность, “неприкрепленность” к земле — как на гигантском ледяном катке. И все ж таки, оглядываясь сейчас назад, чувствуешь, что в жизни твоей не было случайностей, все в жизни оказалось нужным, необходимым, все приходило вовремя, и все круговые движения вихря, тебя несущего, складывались в определенный, удивительно точный рисунок. Значит, отсутствие видимой порядочности и устойчивости лучше всего доказывает существование невидимой устойчивости. Земля нас не держит, но держит Небо. Чья-то мудрая, заботливая, любящая рука направляет жизнь человека, всякого человека. Она направляет согласно его, человека, свободной воле. Я остался жив не только потому, что кто-то быстро «переиграл» список, вынул меня из него — и, вот, я пошел направо, а не «налево», но и потому еще, что хотел остаться жить, хотел каким-то своим внутренним естеством, которое находится в удивительной связи с Судьбой.

Да простит мне читатель, живущий в годы, когда нет ветра на Земле, нет метели, вьюги, и когда все снежинки лежат на земле плотным белым покровом, — это отступление»<sup>33</sup>.

В историсофских размышлениях Д. С. Лихачева 1-й редакции его «Воспоминаний» нашли отражение оба начала его духовного опыта, приобретенного на Соловках. Одно из них идет от традиции философских бесед в

<sup>32</sup> Слово «метель» Д. С. Лихачев — в нарушение орфографических норм — сознательно пишет через букву «я», тем самым связывая его с семантически близкими словами: «мятеж», «смятение», «мятется».

<sup>33</sup> Записная книжка Д. С. Лихачева 1959–1966 гг. (ИРЛИ. Ф. 769). Представленный здесь опыт осмысления Д. С. Лихачевым собственной судьбы помог ему в дальнейшем дать блестящий анализ историсофской концепции романа Пастернака «Доктор Живаго» (см.: Лихачев Д. С. Размышления над романом Пастернака «Доктор Живаго» // Лихачев Д. С. Воспоминания. Раздумья. Работы разных лет. СПб., 2006. Т. 3. С. 433–441).

кругу А. А. Мейера — о мире, человеке и его месте в истории, другое — из опыта общения с отцом Николаем Пискановским. В сочетании этих двух начал и заключается особая притягательность воспоминаний Д. С. Лихачева, свойственная ему окрыленность мысли и духовная ясность в осмыслении лагерного опыта.

Тема «судьбы» оставалась важнейшей для Д. С. Лихачева на протяжении всего его жизненного пути. Вновь и вновь возвращаясь к ней в разные периоды своей жизни, он ясно видел в ней Промысел Божий, который необъяснимым образом совпадал с его собственным духовным выбором. В конце жизни он поделился этим открытием со своим ровесником отцом Александром Киселевым в уже упомянутом письме: «Самое непонятное состоит в том, что <...> в человеке совмещается изначальная данность всей жизни, воля Божья и свобода воли человека. Синергия. Живя, я ощущаю, что все совершается по Воле Божьей, мудро и предустановленно, но вместе с тем я отвечаю за каждый свой поступок, за каждое движение, мною совершаемое»<sup>34</sup>.

\*\*\*

Духовный опыт, приобретенный на Соловках, отразился и в цикле очерков Д. С. Лихачева о «людях Соловков». Они проникнуты светом благодарности к людям, одарившим его дружбой, примером духовной стойкости и душевной поддержкой в условиях лагеря.

В 1959 г., когда у него впервые возник замысел написать воспоминания о Соловецком лагере (вскоре после смерти его близкого друга Федора Розенберга), он сформулировал его так: «Заметки к будущим воспоминаниям. Смерть Феди заставила меня много думать о прошлом — о юности. Надо написать воспоминания. Тема воспоминаний — все то хорошее, что было. А была дружба и была свобода (несмотря на лагерь). Это и было счастье. Дружба не только с «академиками», счастье не только КАН. Дружба с очень многими «попутно» (даже вор Овчинников)!...»<sup>35</sup> И дальше: «Содержанием воспоминаний должны быть дружба и свобода, торжествующие над грубой силой страдания и насилия»<sup>36</sup>.

<sup>34</sup> Письмо Д. С. Лихачева к отцу Александру Киселеву от 2 сентября 1990 г. (ИРЛИ. Ф. 769).

<sup>35</sup> О своем лагерном «ученичестве» у другого известного вора — Ваньки Комиссарова («короля урок на Соловках») — Д. С. Лихачев вспоминал «не без гордости» в своем шутовском письме к А. Н. Робинсону от 29 ноября 1962 г.: «Основным моим университетом был СЛОН (он у нас и на лагерной печати изображался — тоже Вам юмор), а в нем “профессор” Ванька Комиссаров, ученик Леньки Пантелеева (это тот, который ресторан Белград от милиции сутки оборонял с пулеметом). Ванька Комиссаров и обучил меня — как достоинства не терять, а всегда по своей форме ходить» (цитата приведена в статье: Робинсон М. А., Сазонова Л. И. Дмитрий Сергеевич Лихачев: Жизненный путь и научная судьба. К 100-летию со дня рождения // Славянский альманах. 2006. М., 2007. С. 395–396).

<sup>36</sup> Записная книжка Д. С. Лихачева 1959–1966 гг. (ИРЛИ. Ф. 769).



В конце этой «Заметки» Д. С. Лихачев сформулировал еще две важные идеи будущих воспоминаний: «Но надо бы донести в воспоминаниях силу старой культуры русской интеллигенции начала XX в., силу ее философии, ее талантливость и пр., чего сейчас не понять многим (кружок Андреевского, Мейер и пр.), силу одержимости стихами (Свешников-Кемецкый). <...> В них не должно быть никакой озлобленности: ни тени обиды. Напротив: надо стремиться показать хорошее, счастливое, благословенное, что было в жизни, а зло — как дьяволы, низверженные в ад копием Михаила Архангела, на картине Тинторетто».

\*\*\*

С осмыслением опыта Соловецкого лагеря связано и стихотворение Д. С. Лихачева «Тризна», дошедшее до нас в двух его редакциях. Первая, написанная в стиле футуристического «речетворчества», была создана, по-видимому, на Соловках<sup>37</sup>. Позднее, уже в зрелые годы, Д. С. Лихачев обогатил свое юношеское стихотворение новыми смыслами, добавив в него еще две строки (8-ю и 9-ю) и заменив в первом варианте несколько слов. Приведем текст этого стихотворения в его окончательной редакции<sup>38</sup>:

### ТРИЗНА

*Исчадием ада  
И чадом чадающим  
В республике Чада  
Встал алый причал.  
К причалу причалил  
Чалдон чутко чукчий.  
И, чадом чадающий,  
Лихой и лядащий,  
На гробе России  
Отпраздновал бал.*

8.VIII.1984

<sup>37</sup> Первоначальный вариант этого стихотворения сохранился в письме Д. С. Лихачева к известному знатоку поэзии начала XX в. Д. М. Молдавскому от 21 июля 1986 г. (РГАЛИ. Ф. 2873, Оп. 1, Ед. хр. 251. Л. 53). О «звукописной» манере этого стихотворения Д. С. Лихачев сделал следующее пояснение: «В юношеские годы мне казалось, что в поэзии главное — удачные ассонансы, словесная игра, эквилибристика, шутка, идущая от экспромтов. Нашел листок с одним из моих шуточных упражнений. Стихи непременно должны быть «глубокими», т. е. бессмысленными» (цитата приведена в статье: *Бронникова Е. В.* Эпистолярное наследие Д. С. Лихачева в фондах Российского государственного архива литературы и искусства // *Археографический ежегодник за 2006 г. М., 2011. С. 342–350*).

<sup>38</sup> Первую публикацию этого стихотворения, обнаруженного в бумагах Д. С. Лихачева после его смерти, выполнила Н. В. Понырко (в кн.: *Дмитрий Лихачев и его эпоха: Воспоминания. Эссе. Документы. Фотографии.* / Сост. Е. Г. Водолазкин. СПб., 2002. С. 405). Она же дала и первое его истолкование (несколько отличающееся от нашего). По словам публикатора, «сам Дмитрий Сергеевич говорил, что никогда не писал стихов». Тем большую ценность представляет это единственное исключение.

В поэтических образах этого стихотворения Д. С. Лихачев выразил духовную сущность трагедии, постигшей Россию во втором десятилетии XX в. Он связывает ее с восстанием темной силы — «исчадия ада»<sup>39</sup>, которая в месте молитвы и света сотворила *республику Чада* (со СЛОНОм на гербе — отсюда и Африка), где по изречению одного из туземных правителей: «Власть не советская, а Соловецкая». Вместо прежнего ладана она источает духовный *чад*<sup>40</sup>, разжигает жар в сердцах людей, подпитывая его *алою* кровью. Другой значимый образ этого стихотворения — «чалдон» (согласно Словарю Даля, «бродяга, беглый, каторжник»). Обладая звериным чутьем («чутко чукчий»), он является одним из порождений «отца лжи» (не случайно на воровском языке «чалдон» означает «карточный шулер») <sup>41</sup>. Неустанно курсируя между материком и «алым причалом», он доставляет сюда все новые и новые партии жертв и здесь, в *республике Чада*, творит свою кровавую «тризну»<sup>42</sup>.

Как уже сказано, основным поэтическим средством в этом юношеском стихотворении Д. С. Лихачева является звукопись. В многократном повторении корней «ад», «чад», «ал», «чал» и согласных звуков «ч» и «к» («чутко чукчий») — фонетически рифмующихся с «ЧК»!<sup>43</sup> — проступает обобщенный образ зловещей адовой силы, творящей тризну на гробе России.

\*\*\*

Прояснить смысл этого стихотворения помогает фрагмент из другого сочинения Д. С. Лихачева, в котором также представлена тема «попрания святого места», превращенного чекистами в зловонную тюрьму. Речь идет о другом

<sup>39</sup> Ср. с замечанием Д. С. Лихачева о Соловецком острове как о месте извечного противостояния святости и греха: «Здесь — большой природный Рай, но одновременно большой Ад для заключенных всех рангов, сословий, всех населявших Россию народов...» (Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 412).

<sup>40</sup> В том же метафорическом значении использует слово «чад» и другой известный соловецкий автор — О. В. Волков. Ср.: «Чтобы отключиться от *чадной* обстановки, не слышать дежурных грязных анекдотов и похабщины, поливающих досуги обитателей камеры, пан Феликс учит меня польскому языку» (Волков О. В. Погружение во тьму. М., 1989. С. 14). «Шли *чадные* дни. Я ютился на краю грязных трехъярусных нар, убого торчащих под величественными соборными сводами...» (Там же. С. 97).

<sup>41</sup> Будучи сотрудником Кримнологического кабинета, Д. С. Лихачев изучал воровское арг профессионально как филолог-лингвист. Результаты его исследований изложены в статье: Лихачев Д. С. Черты первобытного примитивизма воровской речи. 1933 // Лихачев Д. С. Работы ранних лет. Тверь, 1993. С. 54–94.

<sup>42</sup> На связь образа «чалдона» с кораблем с чекистским именем «Глеб Бокий» намекает сам Д. С. Лихачев, ср.: «Около Соловков нас снова захихнули в чрево “Глеба Бокого” (этот живой человек, в честь кого был назван пароход, — людоед — главный в той тройке ОГПУ, которая приговаривала людей к срокам и расстрелам)» (Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 402). Большевики, видимо, любили давать своим кораблям чекистские имена. Показательно, что и первым судном, вошедшим в шлюзы сталинского Беломорканала летом 1933 г., был другой корабль под названием «Чекист».

<sup>43</sup> Напомним, что одним из обвинений, предъявленных Д. С. Лихачеву органами ГПУ, был его доклад о действиях «чрезвычайки» за первые пять лет после революции (содержавший статистику расстрелянных). Согласно этому докладу кровавая жертва ЧК за этот срок составила: 28 епископов, 1218 священников, 54000 офицеров, 90000 докторов, 355000 представителей интеллигенции, 815000 крестьян и т. д. (см.: Обвинительное заключение ГПУ по делу кружка «Воскресение» № 108 (1929 г.), опубликованное в качестве приложения к статье: Медведев Ю. «Воскресение»: К истории религиозно-философского кружка А. А. Мейера // Диалог. Карнавал. Хронотоп. М.; Витебск, 1999. Вып. 4. С. 111).

философском отступлении 1-й редакции его «Воспоминаний», написанном в лиро-эпической манере<sup>44</sup>. Начинается оно эпической картиной геологической жизни Соловецких островов в Белом море, изображенной в грандиозной пространственно-временной перспективе: «Десятки тысяч лет ледники, двигавшиеся из Скандинавии, нагнали сюда на Соловецкие острова валунов. Стада этих валунов покрыли острова. Они были обкатаны тысячеверстными переходами, приняли форму удивительно живую, лаконичную. Лед вспахал острова, вырыл длинные логовища для озер, почти перерезал остров пополам Глубокой Губой. Над островами проносились ветры, облака, туман, метели. Вставали томительно длинные восходы, ложились разноцветные закаты. По ночам зимой колыхались северные сияния. Соловки были близки мирам иным, близки к космосу».

Продолжается это повествование рассказом о появлении на острове монахов, возделывавших его в течение пяти столетий своим трудом и молитвой, об огромных усилиях людей окультурить природу, создать с ее помощью соборы величественного монастыря: «Полтысячелетия назад человек стал возводить из валунов жилища. Сделал ограду, чтобы отгородиться от ветров, моря, лесов и болот. Из валунов и кирпича возводились огромные здания. Все они соединялись между собой переходами, чтобы люди могли не выходить наружу. По длинным переходам внутри домов с кельями можно было обойти вокруг всего монастыря. Деревянные переходы связывали группу соборов с кельями. Эта группа соборов в центре монастыря была также соединена переходами. Здесь были старые Успенский и Преображенский соборы, трапезная, пекарня, новые соборы — Троицкий, колокольня, часовня Германа и многое еще другое».

Но в это пространство светлого духа, творящего в согласии с природой, вторгается дух вражды и насилия, который превращает эти соборы в тюрьмы, священные алтари — в уборные, застраивает их нарами, заселяет человеческим сбродом, заполняет их чадом и смрадом. Эпический стиль повествования сменяется сгущенно-натуралистическим: «В новом Троицком соборе, как бы приткнувшимся к старому Преображенскому, было устроено огромное помещение 13 роты. <...> Уборная была сделана, как полагается, в алтаре. В часовне Германа был ларек, в склепах — кладовые. Всюду под сводами с великолепной акустикой гулко раздавался мат. <...> Высокие помещения соборов как нельзя лучше подходили для многоэтажных нар, фантастически громоздившихся, вздымавшихся вверх, затемнявших свет. Толпы людей, сменившие паломников, жили здесь, ели, испражнялись, извергали испорченный воздух, обильно накапливавшийся в желудках от черного хлеба и чечевицы, чесались до кровавых расчесов от вшей

<sup>44</sup> Записная книжка Д. С. Лихачева 1959–1966 гг. (ИРЛИ. ОР. Ф. 769).

и клопов, ругались, изощрялись в подлости, чтобы продлить свое существование на несколько недель или месяцев, играли в карты, ругались, пели блатные песни, дрожали от холода, прятались от нарядчиков под нары, воровали, рассказывали анекдоты, пошло остроли. В конце концов — кого выносили на носилках умирать в лазарет, а кто умирал тут же, и ему писали еще живому чернильным карандашом на запястье руки фамилию, чтобы будущий труп нельзя было спутать с трупом соседа».

Вся эта картина, нарисованная Д. С. Лихачевым, напоминает образы стихотворения «Тризна», где также в пространство святости вторгаются «исчадия ада», чтобы надругаться над ней и сотворить здесь свою кровавую тризну. Но, в отличие от стихотворения, здесь автор словно выхватывает из мрака светом теплящейся свечи нечто такое, отчего наступает катарсис. Он видит представителей трех уходящих сословий, достойно встретивших посланное им испытание, — духовенства, интеллигенции и кадрового офицерства. И замирает от осознания величия их подвига: «И среди всего этого ужаса тихо теплилась жизнь святых, пораженных значительностью совершающегося. Скромно и благородно заканчивали свою жизнь интеллигенты старой формации. Мужественно выполняло свой долг жизни старое кадровое офицерство, чудом сохранившееся в мировой войне и гражданской».

Осмысливая увиденное, Д. С. Лихачев высказывает еще одну важную историко-ософскую мысль, связывающую судьбу России с Соловками: «События избирают себе места, чтобы свершиться именно в них. Старая Россия умирала в Соловках. Нет, я неверно сказал — не старая Россия умирала здесь, а какая-то ее часть: интеллигенция, духовенство, отдельные участники белого движения, не выехавшие за границы России. Здесь был последний уголок свободы, духовной жизни».

Можно сказать, что в этих строках звучит своего рода «Реквием» по ушедшей России. Конечно, не вся старая Россия ушла в вечность на Соловках, но, несомненно, — ее лучшая часть.

\*\*\*

Во второй части статьи проследим основные этапы многолетних занятий Д. С. Лихачева соловецкой темой. Судя по всей совокупности текстов, посвященных Соловкам, он возвращался к опыту Соловецкого лагеря на протяжении всей своей жизни, осмысляя его с годами все более ясно. Со временем у него пришло понимание, что именно там он застал последний культурный слой Серебряного века, который вскоре исчез навсегда. В своей манере поведения, в образе мыслей и поступках Д. С. Лихачев оставался хранителем памяти об этих людях.



Первый опыт его записей о Соловецком лагере относится еще к пребыванию Д. С. Лихачева на Соловках. Тетрадь с соловецкими записками 1928–1930 гг., сделанными по свежим следам, была передана им приезжавшим на свидание родителям в 1930 г. (первые ее страницы, по словам Лихачева, были им вырваны, чтобы «не подвести упомянутых там лиц»)<sup>45</sup>.

В 1932 г., по возвращении в Ленинград, Д. С. Лихачев составил для себя список с фамилиями людей, которых он встретил в лагере (всего около 430 имен), с краткими примечаниями. Писать подробно о них он не мог, зная по опыту, насколько опасными бывают такие записи. Впоследствии этот список послужил опорой для его воспоминаний. По словам Д. С. Лихачева, в нем запечатлена «лишь малая часть бесчисленных лиц, с которыми он дружил, разговаривал, встречался, которых просто знал...»<sup>46</sup> Но память с годами стала его подводить, и многих из них он уже не смог вспомнить. Судя по отдельным его высказываниям, Д. С. Лихачев сильно об этом сожалел, считая «самой большой неудачей в жизни»<sup>47</sup>. Незадолго до смерти он опубликовал весь этот список «как единственный след того, что люди эти были, что ушли, не оставив ничего, кроме имени в моем списке»<sup>48</sup>.

Новое обращение Д. С. Лихачева к теме Соловков состоялось уже в зрелом возрасте, когда после смерти Федора Розенберга в 1959 г. у него созрело решение написать воспоминания о Соловецком лагере. Тогда же им были написаны «Заметки к будущим воспоминаниям»<sup>49</sup>. В них он определил основные темы будущих воспоминаний: тему дружбы и духовной свободы «несмотря на лагерь» и тему духовной силы русской интеллигенции.

В конце 1964 г. Д. С. Лихачев вступает в переписку с писателем-соловчанником Олегом Васильевичем Волковым. Вскоре между ними устанавливаются дружеские отношения. Основой для этого послужила общность их судеб, связанных с Соловецким лагерем, и забота о сохранении памятников культуры<sup>50</sup>. В апреле 1966 г. Д. С. Лихачев получает через семью Волковых письмо от Ксении Николаевны Пискановской, дочери отца Николая. Переписка с ней будет продолжаться до самой ее кончины в 1997 г.<sup>51</sup>

В июле 1966 г. Д. С. Лихачев принимает участие в конференции «Памятники культуры Русского Севера» в Архангельске. На ней он выступил с докладом

<sup>45</sup> Лихачев Д. С. Соловецкие записи. 1928–1930 // Лихачев Д. С. Работы ранних лет. Тверь, 1993. С. 15–30.

<sup>46</sup> Лихачев Д. С. Беседы прежних лет // Наше наследие. М., 1993. № 27. С. 57–59.

<sup>47</sup> Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 511.

<sup>48</sup> Лихачев Д. С. Беседы прежних лет. С. 57.

<sup>49</sup> Записная книжка Д. С. Лихачева 1959–1966 гг. (ИРЛИ. Ф. 769).

<sup>50</sup> Письма Д. С. Лихачева О. В. Волкову и его семье / Публ., сопроводит. текст и прим. В. О. Волкова // Наше наследие. 2008. № 87–88. С. 74–79.

<sup>51</sup> Там же. С. 76.

«Задачи изучения Соловецкого историко-культурного комплекса», который во многом способствовал принятию решения об открытии Соловецкого музея-заповедника<sup>52</sup>.

Из Архангельска он вместе с другими участниками конференции отправился на пароходе «Татария» на Соловки, где провел несколько дней<sup>53</sup>. Во время прогулок по Соловецкому острову его сопровождала Светлана Васильевна Вереш, в будущем первый директор Соловецкого музея. По ее воспоминаниям, в течение нескольких дней они обошли и объехали на машине и лодках «практически весь архипелаг»<sup>54</sup>. Побывали на Анзере и на Муксалме, ездили на Заяцкие острова. При этом Д. С. Лихачев подробно рассказывал ей и другим спутникам о лагерной топографии Соловецкого лагеря, штрафном изоляторе на Секирке, читал стихи Владимира Кемецкого. Много из рассказанного им С. Вереш записала<sup>55</sup>. В прогулках по соловецкому кремлю приняли участие также два других будущих научных сотрудника Соловецкого музея Евгений Абрамов и Александр Осипович, которые также постарались сохранить для памяти краткие записи его рассказов. Об этом сообщал впоследствии Юрий Чебанюк (приехавший на Соловки годом позже) со слов своих товарищей: «От его посещения у ребят осталась беглая запись истории Соловецкого лагеря. Позже, прочтя Архипелаг ГУЛАГ, я понял, что у Александра Исаевича и у нас, соловецких экскурсоводов, был один и тот же источник информации»<sup>56</sup>.

Поездка на Соловки оставила в душе Д. С. Лихачева сильное впечатление. Побывав в местах своей памяти, он воочию увидел разрушительную силу забвения, противоположную духу памяти — памяти как форме жизни духа. Позднее он об этом писал с горечью: «С группой музейных работников я был и на Анзере, где почти все памятники подверглись страшным разрушениям. Особенно жалко мне было Голгофы и Троицкого скита. Поразили меня карандашные надписи на стенах. Людям так хотелось оставить по себе хоть какую-нибудь память... То же самое увидел я на Секирке <...> Не стану описывать чувств, которые переполняли меня, когда я осознал грандиозность этой общей могилы — не только людей, каждый из которых имел свой душевный мир, но и русской культуры — последних представителей русского “серебряного века” и лучших представителей Русской церкви. Сколько людей не оставило по себе никаких следов, ибо кто их и помнил — умер»<sup>57</sup>.

<sup>52</sup> Решение правительства об открытии Соловецкого музея-заповедника было принято 10 января 1967 г.

<sup>53</sup> О поездке на Соловки летом 1966 г. Д. С. Лихачев рассказал в одной из последних глав книги «Воспоминаний».

<sup>54</sup> Вереш С. В. Четыре соловецких года // Наше наследие. М., 2006. № 79–80. С. 88–94.

<sup>55</sup> Там же. С. 92.

<sup>56</sup> Мельницкая Л. Давняя песня в нашей судьбе. Часть 1 // Соловецкое море. 2002. № 1. С. 155.

<sup>57</sup> Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 508, 510.

Очевидно, увиденное так потрясло его, что сразу по возвращении с Соловков он начал писать свои воспоминания. Об этом достоверно свидетельствует его записная книжка 1959—1966 г. Работа над первой редакцией их велась с июля по ноябрь 1966 г. В ноябре первая редакция воспоминаний была им завершена. Она включала и те два фрагмента с философскими размышлениями Д. С. Лихачева, которые были приведены выше (о Промысле Божиим и о том, что три избранных сословия старой России ушли в вечность здесь, на Соловках).

Вскоре по возвращении с Соловков Д. С. Лихачев составил свой Соловецкий альбом, в котором использовал снимки, сделанные во время поездки<sup>58</sup>.

Летом следующего, 1967 г., Д. С. Лихачев был приглашен в Оксфорд для награждения его почетной степенью доктора Оксфордского университета. Там он встретился с Софией Михайловной Осоргиной — сестрой Георгия Михайловича. Он рассказал ей все, что знал об обстоятельствах гибели ее брата. С. М. Осоргина подарила ему на память копию пасхального письма брата, написанного родным из Бутырской тюрьмы<sup>59</sup>.

В 1967 г. к Д. С. Лихачеву приезжает А. И. Солженицын, чтобы узнать от него подробности лагерной жизни на Соловках. Бывший соловчанин делится с ним своими воспоминаниями и передает ему собственные записи о Соловках<sup>60</sup>. Ручеек его памяти вливается в грандиозную реку общенациональной памяти, а написанное им составляет основу соловецкой главы романа «Архипелаг ГУЛАГ».

По словам Лихачева, в его же кабинете появилось на свет и само название романа. Вот как рассказывает об этом сам Лихачев: «В самый разгар работы над своими сочинениями по истории лагерей ко мне приехал А. И. Солженицын. Мы с ним работали три дня. Я ему дал свои записки по истории Соловков. Рассказал о главном палаче Соловецкого лагеря латыше Дегтяреве <...>, сам он себя пышно именовал “начальником войск Соловецкого архипелага”. Александр Исаевич воскликнул: “Это то, что мне нужно!” Так в моем кабинете родилось название его книги “Архипелаг ГУЛАГ”»<sup>61</sup>.

Об этом же вспоминает внучка Д. С. Лихачева — В. С. Зилитинкевич: «Когда я стала немного старше, лет десяти-двенадцати, дедушка начал мне часто рассказывать о Соловках. Вообще, соловецкий период был одним из важнейших в его жизни. Хорошо помню, как дедушка рассказывал о Соловках Солженицыну, который приходил к нам на дачу, когда собирал материал для “Архипелага ГУЛАГ”. В главе о Соловках Солженицын в основном опирался

<sup>58</sup> Этот альбом хранится у внучки Д. С. Лихачева — Э. Ю. Курбатовой.

<sup>59</sup> См. главу «Георгий Михайлович Осоргин» из цикла Д. С. Лихачева «Люди Соловков».

<sup>60</sup> Лихачев Д. С. Беседы прежних лет (из воспоминаний об интеллигенции 1920—1930-х годов) // Лихачев Д. С. Об интеллигенции. СПб., 1997. С. 193.

<sup>61</sup> Лихачев Д. С. Соловки. 1928—1931 годы // Настоящее издание. С. 361.

именно на дедушкины рассказы. И само название главы “Архипелаг возникает из моря” подсказано было ему именно дедушкой. Хорошо помню, как Солженицын хлопнул рукой по столу и прямо крикнул “Здорово”, когда дедушка сказал, что советские лагеря “возникли из моря”. Дедушка мне тогда сказал в связи с приходом Солженицына: “Постарайся запомнить, что говорил этот человек. Это очень крупная фигура в русской культуре”. Он даже сравнил Солженицына с Толстым. На меня это произвело большое впечатление»<sup>62</sup>.

В марте 1968 г. Д. С. Лихачев сообщает в письме Светлане Вереш о желании Солженицына побывать на Соловках<sup>63</sup>. К сожалению, этот замысел так и не осуществился. В конце лета — начале осени 1968 г. Д. С. Лихачев пишет программную статью «Соловки в истории русской культуры»<sup>64</sup> для сборника «Архитектурно-художественные памятники Соловецких островов». Однако сам сборник вышел в свет под редакцией Д. С. Лихачева лишь 12 лет спустя, в 1980 г.<sup>65</sup>

В конце декабря 1968 г. Д. С. Лихачева вновь посещает Солженицын. Он рассказывает Дмитрию Сергеевичу о своем проекте построить храм под Звенигородом. Тот, в свою очередь, советует ему вместо строительства новой церкви восстановить одну из уже существующих на Соловках и установить там заупокойную службу по всем погибшим в лагере с чтением Неусыпаемой Псалтыри<sup>66</sup>. Как записал в краткой заметке об этом разговоре сам Д. С. Лихачев, идея Солженицыну очень понравилась. Но осуществить ее, по понятным причинам, ему так и не удалось.

В 1969 г. Д. С. Лихачев создает своего рода «путеводитель» по Соловецкому лагерю, используя для этого альбом художника Г. М. Манизера с видами Соловецкого острова, в который внес свои комментарии по лагерной «топографии» Соловков<sup>67</sup>. На одной из иллюстраций он отметил окно Троицкого собора, на подоконнике которого он когда-то встретил о. Николая Пискановского. На другой обозначил канцелярскую роту, где жили И. М. Андреевский и епископ катакомбной церкви профессор-хирург Максим Жижиленко.

В этом же путеводителе он нарисовал план своей камеры в 3-й роте, где жил зимой 1929 г. после перенесенного тифа. Соседями его были заведующий

<sup>62</sup> Дмитрий Лихачев и его эпоха... С. 30–31.

<sup>63</sup> «Милая добровольная затворница»: Письма Д. С. Лихачева к С. В. Вереш // Наше наследие. М., 2006. № 79–80. С. 95.

<sup>64</sup> Там же. С. 97.

<sup>65</sup> Лихачев Д. С. Соловки в истории русской культуры // Архитектурно-художественные памятники Соловецких островов. М., 1980. С. 9–41.

<sup>66</sup> Рассказ об этом визите А. И. Солженицына хранится в архиве Д. С. Лихачева.

<sup>67</sup> Архитектура Соловецкого монастыря : (альбом репрод. / Г. М. Манизер; текст П. Тельтевского); худож. Г. М. Манизер. М., 1969. (Памятники древнего зодчества). Эта книга с заметками Д. С. Лихачева о Соловецком лагере хранится в Отделе древнерусской литературы Пушкинского Дома.

Криминологическим кабинетом А. Н. Колосов и генерал Осовский, происходивший из византийского рода Палеологов (как шутили его сокамерники: «претендент на Греческий престол»).

В 1971 г. Дмитрий Сергеевич вместе с Зинаидой Александровной провели месяц в Коктебеле, где Марья Степановна Волошина читала им наизусть поэму Максимилиана Волошина о Владимирской иконе Божией Матери, посвященную реставратору А. И. Анисимову. По возвращении из Коктебеля Д. С. Лихачев написал очерк о пребывании А. И. Анисимова на Соловках.

Во второй половине 1970-х гг. он пишет целую серию очерков о разных сторонах лагерной жизни: «Школа смелости», «Соловецкий “Страшный сон”», «Ю. Казарновский», «Малютка Фелибер», «О расстреле 28 октября 1929 г.», «Сыпной тиф», «Женщины из Женбарака», «Вещи», «Клопы», «О вшах», «Возвращение». Большинство из этих очерков так и остались неопубликованными.

20 сентября 1979 г. Д. С. Лихачев пишет письмо В. Т. Шаламову, находившемуся в доме инвалидов Литфонда, со словами признательности и поддержки. В этом же письме он говорит и о своем долге памяти перед «соотечественниками» по Соловецкому лагерю: «Дорогой Варлам Тихонович, захотелось написать Вам. Просто так. У меня тоже был период в жизни, который я считаю для себя самым важным. Сейчас уже никого нет из моих современников и “соотечественников”. Сотни людей слабо мерцают в моей памяти. Не будет меня, и прекратится память о них. Не себя жалко — их жалко. Никто ничего не знает. А жизнь была очень значительной. Вы другое дело. Вы выразили себя и свое»<sup>68</sup>.

В 1978 г. Д. С. Лихачев создал новый «цикл» заметок по лагерной «топографии» на комплекте открыток с видами Соловков. Среди них и такая: «Андреевская церковь. Здесь, в бане и в кельях, была штрафная женская рота, пользовавшаяся страшной славой (тут погибали и умирали — монахини, проститутки, воровки, бандитки и пр.). Сюда были отправлены монахини из имяславинского монастыря, тайного, около Гагр в горах, которые не хотели называть своих имен и работать на Советскую власть. Все они здесь умерли (молодые) голодной смертью».

В 1983 г. аналогичные записи Д. С. Лихачев делает на другом комплекте открыток. Приведем для примера две из них. Первая: «Надвратная Благовещенская церковь и Пожарные (бывшие Святые) ворота. Здесь находилась пожарная команда, а в церкви Солмузей. Через ворота водили на расстрел людей (расстреливали на кладбище). Когда расстреляли 300 человек, профессор Оксфордского университета Покровский стал сопротивляться, бил

<sup>68</sup> РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 3. Ед. хр. 330. Л. 1. Цитата из письма к В. Т. Шаламову приведена в статье: Бронникова Е. В. Эпистолярное наследие Д. С. Лихачева в фондах Российского государственного архива литературы и искусства // Археографический ежегодник за 2006 г. М., 2011. С. 350.



деревянной ногой (протез) конвоиров. Пристрелили его здесь в воротах. Сам он называл себя, представляясь, “Белобандит Покровский”».

Другая запись связана с воспоминанием Д. С. Лихачева о знакомстве с художником-реставратором А. И. Анисимовым: «Сколько раз, работая по вечерам в Солмузее, я поднимался по этой лестнице наверх, где были иконы и где в 1931 г. расчищал большую икону XV в. Александр Иванович Анисимов. Он приехал позже, и я показывал ему мои любимые иконы. Он сдержанно сказал мне: “Вкус есть!” Я запомнил эти слова: они мне были дороги. Он наизусть читал посвященную ему поэму Макса Волошина о Владимирской Божьей Матери. Делал доклад о ее расчистке в 7 роте».

В 1983 г. Д. С. Лихачев встретился с приехавшей из Архангельска К. П. Гемп и записал ее рассказ о пребывании на Соловках отца Павла Флоренского и об обстоятельствах его гибели<sup>69</sup>.

В 1984 г., в 52-ю годовщину освобождения из лагеря (8 августа 1932 г.), он нашел и отредактировал свое юношеское стихотворение «Тризна», написанное в стиле поэтического речетворчества, свойственном эпохе Серебряного века.

В 1988 г. Д. С. Лихачев принимал участие в съемках фильма «Власть Соловецкая» (реж. М. Голдовская). Во время съемок фильма Ю. А. Бродский дал ему для прочтения самиздатовскую копию книги Бориса Ширияева «Неугасимая лампада» (Нью-Йорк, 1954). Читая ее, Д. С. Лихачев сделал на полях книги целый ряд комментариев, посвященных Соловецкому лагерю<sup>70</sup>.

Но горькое чувство последнего свидетеля ушедшего века не покидало его. Летом того же года Д. С. Лихачев посещает Соловки с группой режиссера В. Б. Виноградова для съемок фильма «Я вспоминаю...» После этой, казалось бы, удачно сложившейся поездки у него все же остается иное чувство — немолимо надвигающейся энтропии, всеразрушающей силы времени: «Все было удачно. Милая дружная съемочная группа молодежи, чудная летняя погода, удачные, как я считаю, съемки. Но Соловки оставили во мне тяжелое впечатление. <...> Соловки-монастырь, Соловки-лагерь, Соловки-тюрьма еще более отступили в царство забвения. Всего один памятник для сотен могил, рвов, ям, в которых были засыпаны тысячи трупов, <...> должен еще более подчеркивать обезличивание, забвение, стертость прошлого. Увы, тут уже ничего не сделаешь»<sup>71</sup>.

<sup>69</sup> Запись этого рассказа, больше тяготеющего к легенде, свойственной фольклору, хранится в архиве Д. С. Лихачева (ИРЛИ. Ф. 769).

<sup>70</sup> Впоследствии Ю. А. Бродский передал этот экземпляр с пометами Дмитрия Сергеевича в дар Фонду имени Д. С. Лихачева. Анализу комментариев Д. С. Лихачева в книге Б. Ширияева посвящена статья отца Вячеслава Умнягина «Лихачев и Ширияев: (О рукописных комментариях Лихачева на полях “Неугасимой лампады”)».

<sup>71</sup> Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 510.

Но как истинный рыцарь памяти Д. С. Лихачев не слагает оружия. Несмотря на свой почтенный возраст (82 года), он отдает себе приказание: «Надо призвать свою память, ибо помнить прошлое Соловков стало уже больше некому»<sup>72</sup>. И в последующие полтора года он создает новый обширный очерк воспоминаний о Соловках, который включит впоследствии (в несколько переделанном виде) в книгу «Воспоминаний» (1995). Впервые этот очерк был опубликован в сборнике его работ, названном «Книгой беспокойств» (1991)<sup>73</sup>.

В 1989 г. Д. С. Лихачев встретился с племянником Г. М. Осоргина Георгием Сергеевичем Голицыным и рассказал ему об обстоятельствах гибели дяди. К счастью, Г. С. Голицын сделал краткую запись его рассказа, которая затем была опубликована в книге его отца «Записки уцелевшего»<sup>74</sup>.

В 1988–1989 гг. выходят две книги Д. С. Лихачева: «Воспоминания» (1988) и «Заметки и наблюдения» (1989), в которые он включил краткий очерк «Соловки» (первый печатный вариант его воспоминаний о лагере)<sup>75</sup>.

Получив в конце 1990-го года 9-й номер журнала «Север», всецело посвященный Соловецкому лагерю, Д. С. Лихачев написал 9 страниц поправок и уточнений к опубликованным в нем материалам. 13 января 1991 г. он отправил свои поправки в редакцию, поблагодарив ее за «замечательный номер»<sup>76</sup>.

В 1991 г. вышли в свет еще две книги Д. С. Лихачева, включающие главы о Соловецком лагере, — «Я вспоминаю» и «Книга беспокойств». В первой он поместил текст своего интервью из фильма В. Б. Виноградова «Дмитрий Лихачев. Я вспоминаю...» (1988) и «Соловецкие записи 1928–1930 гг.» (заметки, сделанные им еще в лагере)<sup>77</sup>. Во вторую, как уже было сказано, вошел вновь написанный очерк «На Соловках» (а также публиковавшийся ранее очерк «Соловки»)<sup>78</sup>.

В начале 1992 г. Д. С. Лихачев получил возможность ознакомиться с материалами хранящегося в архиве ФСБ Санкт-Петербурга следственного дела ГПУ по обвинению в антисоветской деятельности Космической Академии Наук и Братства прп. Серафима Саровского. Он обнаружил в материалах дела «Тезисы доклада о старой орфографии», написанного им в январе 1928 г., за несколько дней до ареста, и послужившего одним из мотивов для осуждения его на 5-летний срок. В том же году Д. С. Лихачев подготовил к печати книгу «Статьи ранних лет», в которую вошли «Тезисы доклада о старой орфографии», «Соловецкие записи 1928–1930 гг.»,

<sup>72</sup> Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 510.

<sup>73</sup> Лихачев Д. С. Книга беспокойств. М., 1991. С. 94–145.

<sup>74</sup> Голицын С. М. Записки уцелевшего. М., 1990. С. 429–433.

<sup>75</sup> Лихачев Д. С. 1) Воспоминания. М., 1988. (серия «Писатель и время»); 2) Заметки и наблюдения: Из записных книжек разных лет. Л., 1989. С. 97–103.

<sup>76</sup> Лихачев Д. С. В редакцию журнала «Север» // Север. 1991. № 4. С. 99–102.

<sup>77</sup> Лихачев Д. Я вспоминаю. М., 1991. С. 63–94.

<sup>78</sup> Лихачев Д. Книга беспокойств. М., 1991. С. 94–145.

«Картежные игры уголовников» (впервые опубликованная в журнале «Соловецкие острова» за 1930, № 1), краткая редакция его воспоминаний о Соловках и еще две научные статьи, посвященные воровской речи (Тверь, 1993).

В начале 1990-х гг. Д. С. Лихачев написал еще целый ряд статей о «людях мысли» Соловков: А. А. Мейере, Ю. Н. Данзас, Г. О. Гордоне и других. Наконец, в 1993 г. в журнале «Наше наследие» вышел полный текст его воспоминаний о Соловецком лагере под названием «Беседы прошлых лет...» (Из воспоминаний об интеллигенции 1920—1930-х годов)<sup>79</sup>.

Но долг памяти продолжал жить в его душе и в последующие годы, вновь и вновь побуждая его вспоминать и писать. В 1994 г. он пишет краткий очерк о поэте Владимире Кемецком, с которым он прожил «в одной камере почти два года», и публикует его стихи из сборника, присланного неизвестным дарителем в редакцию журнала «Наше наследие». В конце очерка Д. С. Лихачев признается: «Стихи нашли меня, я верю, по воле Володи. Поэтому я публикую их, как бы прижимая к сердцу»<sup>80</sup>.

В 1995 г. вышла большая книга его «Воспоминаний», включавшая, наряду с соловецкими главами, главы о его детстве и школьных годах, о пережитой блокаде и о службе в Академии наук. Эпиграфом к ней послужили слова молитвы: «И сотвори им, Господи, вечную память...» Осознавая свое бессилие вспомнить всех, кого он встретил на своем пути, Д. С. Лихачев смиренно препоручает их памяти Божией, увенчивая книгу этим просветленным эпиграфом.

\*\*\*

Таким образом, Д. С. Лихачев был не просто летописцем истории Соловецкого лагеря. Пожалуй, в большей степени он был добровольным служителем памяти и своих товарищах. Можно с уверенностью сказать, что исполнение долга памяти было для него главным делом жизни. Особенно это проявилось в его бережном отношении к памяти отца Николая Пискановского и владыки Виктора Островидова, которым он посвятил в своих «Воспоминаниях» общую главу («Духовенство»). Но и в жизни он проявлял сердечную заботу о дочери отца Николая, Ксении, стараясь оказывать ей всемерную поддержку. Находясь в многолетней переписке с ней, он попросил ее написать о жизни отца Николая и владыки Виктора Островидова после Соловков как можно подробнее. В ответ на его просьбу Ксения Николаевна прислала ему два больших письма с рассказами о жизни отца

<sup>79</sup> Лихачев Д. С. Беседы прежних лет // Наше наследие. М., 1993. № 26. С. 33–60; № 27. С. 33–59. Названием послужила строка из стихотворения Пушкина «Чаадаеву» («В стране, где я забыл тревоги прежних лет...») (1821).

<sup>80</sup> Кемецкий В. Из цикла «Каменные стихи» / Публикация Д. С. Лихачева // Мфр, 1994. № 4. С. 24–29.

в Архангельске и о приезде к нему владыки Виктора. Эти письма Д. С. Лихачев перепечатал на машинке и дал каждому из них свое название. Первому — «Жизнь отца Николая Пискановского», второму — «Пискановская о владыке Викторе Островидове». О жизнеописании отца Николая, присланном его дочерью, он заметил: «Поразительно похоже по сообщаемым фактам и по стилю на “Житие” протопопа Аввакума»<sup>81</sup>.

Осознавая свою ответственность как последнего свидетеля ушедшей эпохи, Д. С. Лихачев неустанно заботился о том, чтобы летопись Соловецкого лагеря включала все новые и новые имена. У него было сильное чувство долга, долга памяти. Он не мог примириться с забвением. Он был рыцарем памяти. Борьба с забвением и была краеугольным камнем всей его деятельности в роли летописца Соловков и главным побудительным мотивом к написанию воспоминаний.

Не случайно, наверное, в одной из своих записных книжек Д. С. Лихачев сделал выписку о старике из романа Вальтера Скотта «Old Mortality» (в русском переводе — «Пуритане»), который очищал ото мха могильные плиты, чтобы сохранить от забвения высеченные на них имена<sup>82</sup>. И сам Д. С. Лихачев боролся с забвением как мог.

\*\*\*

Но думал он не только о прошлом. Не меньшее значение он придавал будущему. В 1990-е г., вскоре после возобновления монашеской жизни на Соловках, он передал наместнику монастыря архимандриту Иосифу (Братищеву) чистую тетрадь в красивом кожаном переплете, сделав на ней следующую надпись: «Летопись возрожденного Соловецкого монастыря». При этом он думал не только о сохранении исторической памяти, но прежде всего — о том особом «вневременном» взгляде на жизнь, который свойственен летописцу. «Память, — писал Д. С. Лихачев, — это не только сохранение прошлого, это забота о вечности»<sup>83</sup>. «Забота о вечности» и была главным делом его жизни.

С той поры и поныне новые летописцы Соловецкой обители продолжают вести эту летопись, давно заполнив ее первую — Лихачевскую — тетрадь...<sup>84</sup>

<sup>81</sup> Лихачев Д. С. Воспоминания // Настоящее издание. С. 480.

<sup>82</sup> Лихачев Д. С. Заметки и наблюдения: Из записных книжек разных лет. Л., 1989. С. 322.

<sup>83</sup> Образ города // Д. С. Лихачев. Раздумья о России. СПб., 1999. С. 570.

<sup>84</sup> В 2010 г. был издан особый — фотографически документированный — вариант Соловецкого летописца, посвященный 20-летию истории возрожденного монастыря. См.: Соловки. История. Летопись возрождения: фотоальбом. Изд. Соловецкого монастыря, 2010.



## Воспоминания<sup>1</sup>



*«И сотвори им, Господи,  
вечную память...»*

### Красный террор

**Р**усская культура Серебряного века (век этот, впрочем, длился всего четверть столетия) рождалась в разговорах, беседах — откровенных, свободных, вскрывавших заветные мысли. В беседах этих, в которых по каким-то особым законам духа должно было быть не меньше трех собеседников, рождались новые мысли, новые «откровения». Беседуя, человек формулировал, оттачивал мысль, прокладывал дорогу для новых мыслей. Полная свобода в этих разговорах была условием их плодотворности. Отнюдь не случайно с 1928 г., с приходом к власти Сталина и его диктатуры над умами и душами, начались гонения именно на кружки интеллигенции, на их встречи и на их беседы.

«Русские разговоры», длительные, за полночь, — типичная и очень плодотворная черта русской культуры XIX — первой четверти XX вв.

В своих воспоминаниях мне хотелось бы рассказать о том, чем жила думающая русская молодежь в эти годы, конечно, через узкую «щель» моего личного опыта. Я не вел записок, кроме тех, которые были сделаны на Соловках и сразу по возвращении в Ленинград. Не могу уже сейчас точно восстановить даты. Что помню, то помню.

<sup>1</sup> Главы, посвященные Соловецкому лагерю, публикуются по кн.: Лихачев Д. С. Воспоминания. Изд. 2. СПб.: «Logos», 1997. С. 153–403, 571–578.





участвовать в идеологических кампаниях, проработках, борьбе за «чистоту линии», и тем самым перестала быть интеллигенцией. Эта часть была мала, основная же уже была истреблена в войне 1914—1917 гг., в революцию, в первые же годы террора.

Мои воспоминания — прежде всего о людях, меня окружавших, об умственной жизни 20-х — начала 30-х гг., поскольку она, эта жизнь, была мне доступна в те годы.

С каждым годом моей юности я ощущал надвигающийся гнилостный дух, убивавший удивительную животворную силу, исходившую от старшего поколения русской интеллигенции.

Дневная эпоха сменилась ночной, люди не спали ночами. Люди жили в ожидании, что перед их окнами вот-вот возникнет и замолкнет шум мотора автомобиля и в дверях квартиры появится «железный» следователь в сопровождении бледных от ужаса понятых.

Молодость всегда вспоминаешь добром. Но есть у меня, да и у других моих товарищей по школе, университету и кружкам нечто, что вспоминать больно, что жалит мою память и что было самым тяжелым в мои молодые годы. Это разрушение России и русской церкви, происходившее на наших глазах с убийственной жестокостью и не оставлявшее, казалось, никаких надежд на возрождение.

Многие убеждены, что любить Родину — это гордиться ею. Нет! Я воспитывался на другой любви — любви-жалости. Неудачи русской армии на фронтах первой мировой войны, особенно в 1915 г., ранили мое мальчишеское сердце. Я только и мечтал о том, что можно было бы сделать, чтобы спасти Россию. Обе последующие революции волновали меня главным образом с точки зрения положения нашей армии. Известия с «театра военных действий» становились все тревожнее и тревожнее. Горю моему не было пределов.

Естественно, было много разговоров в нашей семье о врожденной якобы беспечности русских (говорилось, что русские всегда полагаются на свое «авось»), о немецком засилии в правительстве, о Распутине, о плохом поведении в Петрограде огромной массы слабо обученных солдат и отвратительных прапорщиках, грубо обучавших новобранцев на улицах и площадях. Этих-то прапорщиков из скрывавшихся от фронта «революционеров», зарабатывавших свое право оставаться в тылу, в Петрограде, жестоким обращением с новобранцами, наблюдал я в районе Исаакиевского собора, где мы жили, ежедневно. Эти «народолюбцы» на деле презирали и ненавидели новобранцев из крестьян.

Когда был заключен позорный Брест-Литовский мир, было невозможно поверить, что это не прямая измена, не дело рук самих врагов нашей родины.



И с этим чувством жалости и печали я стал заниматься в университете с 1923 г. древней русской литературой и древнерусским искусством. Я хотел удержать в памяти Россию, как хотят удержать в памяти образ умирающей матери сидящие у ее постели дети, собрать ее изображения, показать их друзьям, рассказать о величии ее мученической жизни. Мои книги — это, в сущности, поминальные записочки, которые подают «за упокой»: всех не вспомнишь, когда пишешь их, — записываешь наиболее дорогие имена, и такие находились для меня именно в древней Руси.

### Выработка мировоззрения

Именно мировоззрения, а не «идеологии». К этому разделу моих воспоминаний я бы взял эпиграфом диалог из «Юлия Цезаря» Шекспира. Мысль, в нем выраженная, стала и моим убеждением в течение всей жизни: только правильная философия, правильное мировоззрение способны сохранить человека — и телесно, и духовно. Вот этот диалог.

Б р у т. Кассий, у меня  
 Так много горя!  
 К а с с и й. Если пред бедами  
 Случайными ты упадаешь духом,  
 то где же ФИЛОСОФИЯ твоя?  
 (Четвертое действие)

Я стал задумываться над сущностью мира, как кажется, с самого детства. Помню, как меня, да и многих детей, волновал «феномен зеркала». Что там за мир, и нельзя ли заглянуть в ту часть зеркального мира, которая скрыта за краями зеркала. «Алиса в Зазеркалье» — этот интерес переживают, мне кажется, все дети. Меня интересовало еще — остаются ли на месте те предметы и тот мир, который я в данное время не вижу. Я старался как можно быстрее и внезапнее оглянуться, чтобы поймать — что же делается за моей спиной, когда я туда не смотрю. Из молитвы, которую мы с матерью читали на ночь, я знал, что у каждого ребенка есть свой ангел-хранитель. И я внезапно оглядывался, чтобы увидеть его за моей спиной. Мир всегда, с дошкольных лет, казался мне загадочным.

В последних классах Лентовской школы ученики стремились вырабатывать свои собственные взгляды на мир. Иметь свое мировоззрение было очень важно для самоутверждения подростков, и думая над смыслом всего существующего, подростки редко приходили к выводу, что эгоизм им необходим. Когда человек задумывается над общими проблемами жизни, — он только в случаях полного духовного одиночества решается принять «злые» выводы. Зло возникает обычно от бездумья. Залог совестливости не просто чувства, а мысль!

Мой ближайший друг и сосед по парте Сережа Эйнерлинг увлекался Ницше. Он сам себя называл ницшеанцем. Но ницшеанство его было «добрым ницшеанством». Учение Ницше он вовсе не истолковывал вульгарно и не брал его в целом. Он восхищался отдельными страницами его книг и принимал деление на дионисийское и аполлоновское начала.

Другой мой друг Миша Шапиро любил Оскара Уайльда и мечтал о государстве, во главе которого стояла бы интеллектуальная аристократия. Что-то ему нравилось в Венецианской республике, что-то другое — в Английском государственном строе. В последний год своего школьного учения я сдружился с Сережей Неуструевым. Это был самый скептический из моих друзей. Скепсис — опасен. По окончании школы его завербовало ОГПУ. С риском для своей свободы он предупредил меня за неделю о готовившемся аресте. Вскоре он погиб где-то на Дальнем Востоке.

Конечно, не весь класс серьезно думал о выработке мировоззрения. Но необходимость осознавать свое отношение к окружающему, смею утверждать, была у всех. Это диктовалось событиями в стране и общей интеллигентностью класса.

Что такое общая интеллигентность среды — это разговор особый. Коллективная психология, предполагающая свободу личности, коллективная нравственность, коллективное сверхмировоззрение, сближающее интеллигентных людей всего мира, коллективные умственные интересы, даже свободно меняющиеся моды на глубокие философские течения, понятия человеческой репутации, воспитанности, приличия, порядочности и многие другие, ныне полузабытые, — составляли содержание этой нравственной среды. В нравственной среде мировоззрение становилось естественным поведением в широком смысле.

Создал и я себе свою «философскую систему». В какой-то мере она отразилась на моем характере, главным образом — на моей реакции на все невзгоды жизни.

Я увлекался в последних классах школы интуитивизмом А. Бергсона и Н. О. Лосского. Последнего мне удалось даже однажды увидеть в кружке, собиравшемся у университетского доктора Р. Поля, жившего на первом этаже главного здания университета, примерно там, где сейчас находятся помещения университетского книжного магазина. Был чей-то доклад, и среди многих голов присутствующих мне показали одну — Н. О. Лосский! Примерно через год (следовательно, я видел его зимой 1921 г.) он был отправлен на пароходе «Preussen» или «Burgomister Hagen», отчалившими от Николаевской набережной с цветом русской интеллигенции в Германию, в Штеттин: один из видов обескровливающей тогда нашу страну «контрибуции» по Брестскому миру! Так мы тогда и считали: платили Германии золотом, предметами искусства (их начали продавать из страны очень рано, еще в 1918 году), хлебом и людьми мысли!



Итак, вот мое тогдашнее мировоззрение, созданное под влиянием мучивших меня тогда «проклятых вопросов».

Если время — абсолютная реальность, тогда Раскольников прав. Все забудется, уйдет из жизни, и останется только «осчастливленное» ушедшими в небытие преступлениями человечество. Что важнее на весах времени: реально наступающее будущее или все больше и больше исчезающее прошлое, в которое, как в топку котла, уходит в равной мере и добро, и зло? И какое утешение может найти человек, потерявший близких? Как возможно предсказание, пророчество? Ведь факты предсказаний существуют, они бесспорны для непредвзятого ума. И т. д.

Я пришел к выводу, что время — это только одна из форм восприятия действительности. Если «времени больше не будет» при конце мира (Апокалипсис, гл. 10, ст. 6), то его нет, как некоего абсолютного начала — и при его возникновении, и во всем его существовании.

Муравей ползет, и то, что исчезло позади, для него уже как бы не существует. То, к чему он ползет, для него еще не существует. Так и мы, все живое, обладающее сознанием, воспринимаем мир. На самом же деле все прошлое до мельчайших подробностей в многомиллионном существовании еще существует, а будущее в таком же размахе до его апокалиптического конца уже существует.

Мы смотрим в окно мчащегося поезда. Ребенку кажется, что существует только то, что он видит в окне. Того, мимо чего поезд промчался, больше нет. Того, к чему поезд приближается, еще не существует вообще.

Прообраз вечности наличествует и во времени. Простейший пример — музыка. В каждый данный момент в музыкальном произведении наличествует прошлое звучание и предугадывается будущее. Без этого «преодоления времени» нельзя было бы воспринимать музыку. И это слияние в музыке прошлого, настоящего и будущего в какой-то мере есть слабое отражение той вечности, в которую уже погружено все существующее и снимается «иглой настоящего» с пластинки («диска») вечности.

«Пластинка» с записью всего совершившегося и того, что в будущем совершится, существует во вневременной вечности, а проигрывание этой пластинки, в которой «спрессовано» все, совершается во времени. Время дает возможность «прослушать пластинку». Это непредставимо? Да! Для возможности восприятия бесконечно богатой вечности и существует время. Время, вернее, ощущение времени, есть во всех живых существах (не только в человеке, но и во всем живом), это только форма восприятия бесконечно богатого вневременного бытия.

Есть еще одна сторона, которая заставляла меня лично считать время лишь условием восприятия вневременного бытия. Ведь если время абсолютная, а не

относительная категория, то прошлое — огромнейшая область бытия, полностью неподвластна Богу. Прошлое ограничивает всемогущество Бога. Прошлое, если оно есть, неизменяемо. И поэтому, с моей точки зрения, прошлое — лишь часть вневременного монолита, создаваемого Богом. Прошлое не уходит и не меняется потому, что оно вневременно с нами, а следовательно, подчинено Богу, создано Богом вместе со всем «последующим». Его не надо воскрешать. Воскресение мертвых, которое нам обещано и без которого нет нравственного утешения, наступает немедленно после смерти, как переход в вечность. Мы просто вливаемся в мир вневременности, вечности. И в этом мире мы находимся со всем тем, что совершили, совсем нами пережитым, со всем, что было, а на самом деле остающимся существовать.

Всеведущий Бог! Что такое его всеведение? Я представлял себе это всеведение следующим образом. Подумаем: какое число одинаковых предметов мы можем сразу, не считая, определить, т. е. указать одновременно их количество? Один — считать не надо. Два — тоже. Три — тоже. Но уже четыре и пять — надо мысленно считать, располагать в последовательности. Пусть счет происходит чрезвычайно быстро, но в уме он все же ведется. Всеведущему Богу не надо считать ничего. Он держит одновременно «в сознании» миллионы и миллионы. При этом он удерживает в сознании разнородные явления и явления всех времен в своем вневременном ведении. Вот величие Бога, рассуждал я, сравнительно с нами, которым необходимо познание, познание и время, как формы познания действительности.

Но тут на пути моих размышлений возникало серьезнейшее препятствие. Я был уверен в свободе воли человека. Только при этом условии он может быть добр или зол, отвечать за свои поступки. Если же он свободой не обладает, а это следовало, как нечто само собой разумеющееся, из моих изложенных выше рассуждений, то все равно нравственности нет, ибо у человека нет выбора. Дух человека — это вневременная данность. Здесь скрывается величайшая тайна, нечто конкретно не представимое. Человек существует вне времени, как свободное существо, само за себя отвечающее и вместе с тем находящееся в воле Божьей. Так оно, очевидно, и есть, даже если признавать время не формой восприятия существующего, а абсолютным явлением, в котором существует и сам Бог.

На помощь мне приходило богословское учение о синергии — соединении Божественного всевластия с человеческой свободой, делающей человека полностью ответственным не только за свое поведение, но и за свою суть — за все злое или доброе, что в нем заключено.

Чтобы приблизить понимание вневременного мира, как-то приблизиться к его представлению, я думаю, удобнее всего его представлять не как «вечность», то есть как какое-то растянутое до бесконечности пребывание во времени, а как бесконечно великую единовременную всеохватывающую сущность. То есть и прошлое существует, и будущее — в одной, общей для всего «единовременности». Говорят, что умирающему представляется сразу вся его жизнь. Если она представляется ему сразу во всем крупном и одновременно мелком (до движения руки, до каждого поворота головы, до каждой промелькнувшей в нем мысли) и при этом в ее связях с остальным миром, то вот это и будет отчасти только приближенное представление о пребывающем вне времени мире. Только приближенное и сугубо условное.

В связи с этим представлением о времени как о некотором ограниченном способе восприятия мира находится и представление о всеведении Бога — всеведении, которое ярче всего рисует Божье величие. Но об этом особо.

Однако зачем я все время говорю о времени как о способе восприятия мира? Время — это и форма (по-видимому, одна из форм) существования. И можно точно сказать, зачем нужна эта форма. Всегда убегающее от нас будущее необходимо для сохранения за нами свободы выбора, свободы воли, существующих одновременно с полной Божьей волей, без которой ни один волос не упадет с головы нашей. Время — не обман, заставляющий нас отвечать перед Богом и совестью за свои поступки, которые на самом деле мы не можем отменить, изменить, как-то повлиять на свое поведение. Время — одна из форм реальности, позволяющая нам быть в ограниченной степени свободными. Однако совмещение нашей ограниченной воли с Волей Божьей, как я уже сказал, — это одна из тайн синергии. Наше неведение противостоит всеведению Бога, но отнюдь не равняется ему по значению. Но если бы мы всё знали — мы не могли бы владеть собою.

Вспоминая мою тогдашнюю теорию вневременной сущности всего существующего, мне кажется интересной в ней одна ее сторона, касающаяся законов природы. С моей тогдашней точки зрения, которую я не помню сейчас в деталях, законы природы — это отражение того вневременного, что остается во временном. Истинное бытие не имеет ни времени, ни пространства. Оно все компактно — едино. Это нечто вроде точки. Законы природы (от закона тяготения до законов поведения) — своего рода «воспоминания» о первородном вневременном и внепространственном единстве мира. Но не только законы, но и предчувствия, пророчества, как и сама память: все это элементы той же первородной связи всего в мире.

Жаль, но я не помню всей своей тогдашней аргументации, ибо, как мне кажется, философская сущность законов бытия прозревалась в моих юношеских рассуждениях с некоторой долей смысла.

Созданная мною еще в школе концепция времени была в значительной мере наивной. Отводя времени лишь функции восприятия человеком мира, она полностью игнорировала онтологическую сущность времени, как самовыражения Бытия, и входила в противоречие с моим христианским самосознанием. Представить себе историю человечества, а главное — вочеловечение Христа, как форму восприятия вневременного явления, было бы не только совершенно невозможным, но и кощунственным. Однако концепция времени, как формы восприятия бытия, сыграла в моей юношеской жизни большую роль, — я бы сказал «успокаивающую», способствующую твердости и душевной уравновешенности во всех моих переживаниях, особенно связанных с заключением в тюрьме ДПЗ и на Соловках. Но на Соловках же она стала постепенно разрушаться, когда я познакомился и проводил долгие часы в философских беседах с А. А. Мейером (о нем в дальнейшем).

Еще до ареста я делал о своей «концепции» доклад на кружке, где присутствовали не только учителя, но и посещавшие кружок философы. Помню присутствие Е. П. Иванова. Обо мне заговорили в школе, однако это «признание» через некоторое время обернулось для моего самолюбия испытанием, ибо, когда я появился в университете и меня там «не признали», так как студенты были старше меня и опытнее, а многие бесспорно умнее и способнее, я переживал это «снижение ранга» тяжело и пытался «нагнать» их честолюбивым усердием в занятиях.

Помню и еще один факт с моими философскими исканиями. В Хельфернаке (об этом кружке ниже) С. А. Аскольдов (Алексеев) должен был делать доклад «О чуде». Он просил меня записать его доклад и представить ему его изложение. Не знаю, почему он обратился с такой просьбой ко мне. Предлог был тот, что он хотел, чтобы ему был облегчен процесс написания, но я думаю — он предложил мне изложить его доклад в педагогических целях, и потому, что знал о моей философской концепции.

Доклад С. А. Аскольдова состоял из двух частей. В первой Сергей Алексеевич рассуждал о том, почему чудо и непосредственное общение с Богом было столь обычным в библейские времена и в Средневековье, а теперь исчезло. Во второй части Сергей Алексеевич развивал мысль о том, что чудо есть форма «экономики» Божественной энергии. Первая и вторая части были друг с другом связаны. Вместо изложения я представил Сергею Алексеевичу целую тетрадь моих возражений на вторую часть. Для меня было чрезвычайно лестно, что с частью моих рассуждений Сергей Алексеевич согласился. Я учился тогда в последнем классе, и Сергей Алексеевич спросил: куда я собираюсь поступать. Он полагал, что я буду философом. Услышав, что я хочу стать литературоведом, он согласился,

сказав, что в нынешних условиях литературоведение свободнее, чем философия, и все-таки близко к философии. Тем самым он укрепил меня в моем намерении получить гуманитарное образование вопреки мнению семьи, что я должен стать инженером. «Будешь нищим», — говорил мне отец на все мои доводы. Я всегда помнил эти слова отца и очень стеснялся, когда по возвращении из заключения я оказался безработным и мне пришлось месяцами жить на его счет.

### С. А. Алексеев-Аскольдов

Когда в начале 20-х гг. Сергей Алексеевич Алексеев пришел преподавать психологию в нашу школу имени Лентовской, на Плуталовой улице Петроградской стороны, он был очень красив. Большая его фотография с белой бородой висела в витрине мастерской фотографа на Большом проспекте. Мы ходили группами смотреть на нее, чтобы сравнивать с «натурой». Фотографические витрины были в те послереволюционные годы чем-то вроде нашего телевидения, они создавали популярность персонажам снимков. Зная очень мало о действительных заслугах Сергея Алексеевича перед русской философией и русской культурой в целом, мы считали его знаменитостью только потому, что его фотографическим портретом любовалась вся Петроградская сторона.

У нас в классе он не преподавал, а преподавал в классе постарше. Зато я его постоянно видел и слушал в тех многочисленных кружках, которыми наполнен был Петроград того времени. Прежде всего, философские и литературные кружки были в самой нашей школе; на их заседания приходили многие «взрослые», сам С. А. Алексеев, другие преподаватели.

Что было замечательно в преподавателях тех лет? — они все что-то продолжали изучать, у них были свои пристрастия, они умели спорить при людях, не боясь уронить свое достоинство и достоинство того, с кем спорили. Слушать их, когда они все собирались вместе и приводили своих друзей (одним из них был Евгений Павлович Иванов, ставший затем руководить занятиями одного из кружков), было сущим удовольствием.

С молодежью Сергей Алексеевич всегда общался как с равными ему по возрасту. Он приглашал меня к себе домой (жил он с семьей, из которой хорошо помню его сына-поэта, на Кронверкской улице в отличном доме). Он не только давал мне книги для прочтения, но и разговаривал со мной о своих впечатлениях от музыки и поэзии. Когда перед самым моим поступлением в университет от пристани на Васильевском острове отошел в Штеттин пароход «Preussen» («Пруссак») с учеными — цветом русской интеллигенции, о Сергее Алексеевиче «забыли», и он, по-моему, был этим даже немного обижен.



Я не помню Сергея Алексеевича улыбающимся или смеющимся. Он всегда был серьезен, всегда думал. Его часто видели на велосипеде с развевающейся седой бородой (ездил он гулять на Острова), но и на велосипеде у него был такой вид, точно он глубоко над чем-то задумался.

В 1922 г. он внезапно прекратил преподавать в нашей школе. Дело было так: ученики старшего класса, прослышав о его философских воззрениях, которые они приняли за простой «мистицизм», привязали ниточки к струнам стоявшего в классе рояля (тогда в нашей школе во всех классах стояли рояли, реквизированные у «буржуев»). Во время урока стала звучать то одна струна, то другая. Сергей Алексеевич сперва не мог понять — в чем дело, но заметив лукавые и ухмыляющиеся лица учеников, понял, вышел из класса и больше в школу не возвращался. К тому времени он уже преподавал товароведение в Технологическом институте (а может быть, Политехническом — не помню).

В 1928 г. мы все были арестованы. Арестовывались все участники кружков. Сергей Алексеевич, по-моему, был просто выслан. Когда меня освободили в 1932 г., я жил в Ленинграде, а Сергей Алексеевич продолжал мыкаться по провинции. В середине 30-х годов он приезжал на несколько дней в Ленинград к семье из Новгорода. Встретиться в одной из наших квартир мы не решались: однопдельцы, продолжавшие собираться, арестовывались и получали второй срок. Поэтому мы свиделись с ним в Летнем саду. Долго ходили по дорожкам сада, время от времени оглядываясь. Я рассказывал ему о своем пребывании на Соловках и на Беломоро-Балтийском канале и о судьбе тех, с кем мы были знакомы. Он же рассказывал мне о себе и об Иване Михайловиче Андреевском, жившем в ссылке в Новгороде и на Волховстрое. Говорил он, что «утешается музыкой», любит «Римского»... (была такая манера у петербургской интеллигенции в двойных названиях или двойных фамилиях оставлять только одно слово, которое было в форме прилагательного: «Римский», «Лебединое», «Спящая», «Пиковая» и т. д. — так, кстати, говорила и А. А. Ахматова).

Запомнилось мне и то, что он продолжал упорно настаивать на своей идее канонизации Владимира Соловьева, придавал все большее и большее значение почитанию Серафима Саровского.

Встреча с Сергеем Алексеевичем в Летнем саду была последней. Больше я его уже не видел. Слышал только, что нацисты захватили его в Новгороде и увезли в Германию. Он жил около Потсдама в так называемой «Русской деревне», где была русская церковь. Умер он, не выдержав своего ареста советскими освободителями. Похоронен он там же, но найти его могилу, когда я был в ГДР в 1966 году, мне не удалось.

### Хельфернак

Вплоть до конца 1927 г. город кипел различными философскими кружками, студенческими обществами, журфиксами у тех или иных известных людей. Собирались — и в университете, и в Географическом обществе, и на дому. Относительно свободно обсуждались различные философские, исторические и литературоведческие проблемы. Литературоведы разделились на представителей формальной школы («формалистов») и на тех, кто продолжал традиционные методы изучения литературы. Диспуты происходили и в частных кружках, и на официальной территории — в Ленинградском университете, и в Институте истории искусств («Зубовском») на Исаакиевской площади, но больше всего — в зале Тенишевского училища. Были кружки и в нашей (Лентовской) школе. У нашего школьного преподавателя И. М. Андреевского с самого начала 20-х годов собирался кружок, носивший, как я уже сказал, название Хельфернак («Художественно-литературная, философская и научная академия»).

Расцвет Хельфернака приходился примерно на 1921–1925 гг., когда в двух тесных комнатках Ивана Михайловича Андреевского на мансардном этаже дома по Церковной улице № 12 (ныне улица Блохина) каждую среду собирались и маститые ученые, и школьники, и студенты. Помню среди присутствовавших С. А. Аскольдова (Алексеева), М. В. Юдину, доктора Модеста Н. Моржецкого, В. Л. Комаровича, И. Е. Аничкова, Л. В. Георга, Е. П. Иванова, А. А. Гизетти, М. М. Бахтина, Всеволода Вл. Бахтина, А. П. Сухова и многих других, а из молодежи — Володю Ракова, Федю Розенберга, Аркашу Селиванова, Валю Морозову, Колю Гурьева, Мишу Шапиро, Сережу Эйнерлинга. Всех не перечислишь. Во время заседаний пускалась по рядам громадная книга, в которой расписывались присутствующие и где на страницах сверху своеобразным «готическим» почерком Ивана Михайловича Андреевского была обозначена тема доклада, фамилия докладчика и дата. В 1927 г., когда время наступило опасное, один из самых молодых участников Хельфернака Коля Гурьев завернул эту книгу протоколов в различные водостойчивые материалы и затем закопал где-то на Крестовском острове.

Доклады были самые разнообразные — на литературные, философские и богословские темы. Обсуждения бывали оживленными. Комнатки Андреевского никогда не бывали пустыми.

У Ивана Михайловича была огромная и тщательно подобранная библиотека. (Книги тогда были исключительно дешевы: их могли менять на хлеб, соль, муку, ими даже торговали на вес!) Каждый мог брать из библиотеки Ивана Михайловича любую книгу, даже в его отсутствие, но обязывался наткнуть

расписку в ее получении на специальный крючок и не держать книгу дольше определенного срока. Благодаря этой библиотеке я смог еще школьником познакомиться с самой разнообразной философской литературой: и если и не прочесть книгу, то хотя бы поддержать ее в руках, запомнить содержание и внешний облик, просто узнать о ее существовании, что тоже было важно. Еще большую роль в моем книжном образовании сыграла библиотека И. И. Ионова, а также огромная библиотека Дома книги, о которых я уже писал выше.

Библиотеки и кружки явились основой моего образования.

### **Братство святого Серафима Саровского**

Во второй половине 20-х годов кружок Ивана Михайловича Андреевского Хельфернак стал все более и более приобретать религиозный характер. Перемена эта объяснялась, несомненно, гонениями, которым подвергалась в это время церковь. Обсуждение церковных событий захватывало основную часть кружка. И. М. Андреевский стал подумывать о перемене основного направления кружка и о его новом названии. Все согласились, что кружок, из которого ушли уже многие атеистически настроенные участники, следует назвать «братством». Но во имя кого? Первоначально ратовавший за защиту церкви И. М. Андреевский хотел назвать его «Братством митрополита Филиппа», имея в виду митрополита Филиппа Колычева, говорившего в глаза правду Ивану Грозному и задуманного в Тверском Отроче монастыре Малютой Скуратовым. Потом однако под влиянием С. А. Алексеева (Аскольдова) мы назвались «Братством святого Серафима Саровского».

В разыгравшемся в 1927 г. и последующие годы споре сергианцев и непримиримых иосифлян мы, интеллигентная молодежь, были всецело на стороне митрополита Иосифа, не согласившегося признать декларацию митрополита Сергия, в которой он объявил, что у нас не было и нет гонений на церковь.

Действия правительства в отношении церкви были у всех на виду: церкви закрывались и осквернялись, богослужения прерывались подъезжавшими к церквям грузовиками с игравшими на них духовыми оркестрами или самодеятельными хорами комсомольцев, певшими на удалой цыганский мотив «популярную» песню, сочиненную едва ли не Демьяном Бедным, с припевом:

*Гони, гони монахов,  
Гони, гони попов,  
Бей спекулянтов,  
Дави кулаков...*

Комсомольцы вваливались в церкви группами в шапках, громко говорили, смеялись. Не буду перечислять всего того, что тогда делалось в духовной жизни народа. Нам было тогда не до «тонких» соображений о том, как сохранить церковь в обстановке крайней враждебности к ней власть предержащих. Возмущение творившимся охватывало и интеллигентную еврейскую молодежь. Мой друг Миша Шапиро из патриархальной верующей еврейской семьи возмущался и изредка посещал домовую церковь в доме для престарелых (угол Гатчинской и Малого), где пел удивительно хороший хор.

У нас возникла идея — посещать церковь совместно. Мы, пять или шесть человек, пошли все вместе в 1927 г. на Крестовоздвижение в одну из впоследствии разрушенных церквей на Петроградской стороне. Увязался с нами и Ионкин, о котором мы еще не знали, что он провокатор (см. о нем ниже). Ионкин, притворявшийся религиозным, не знал, как себя вести в церкви, боялся, жался, стоял позади нас. И тут я впервые почувствовал к нему недоверие. Но потом выяснилось, что появление в церкви группы рослых и не совсем обычных для ее прихожан молодых людей вызвало в причте церкви переполох, тем более, что Ионкин был с портфелем. Решили, что это комиссия и церковь будут закрывать. На этом наши «совместные посещения» и прекратились.

Вспоминая те годы, я уверен, что иного подхода к церковному расколу, кроме непосредственно эмоционального, у нас и не могло быть. Мы стояли на стороне гонимой церкви и к рациональным компромиссам, к которым была склонна часть православного епископата, просто не могли примкнуть. Если бы мы были политиками, тогда решение могло бы быть любым. Мы же были не политиками, борющимися за выживание церкви, а просто верующими, желавшими быть правдивыми во всем и питавшими отвращение к политическим маневрам, программам, расчетливым и двусмысленным формулировкам, позволявшим уклониться от прямого ответа.

Помню, что однажды на квартире у своего учителя я встретил настоятеля Преображенского собора отца Сергия Тихомирова и его дочь. Отец Сергий был чрезвычайно худ, с жидкой седой бородой. Не был он ни речист, ни голосист и, верно, служил тихо и скромно. Когда его «вызвали» и спросили об отношении к советской власти, он ответил односложно: «от Антихриста». Ясно, что его арестовали и очень быстро расстреляли. Было это, если не ошибаюсь, осенью 1927 г., после Крестовоздвижения (праздник, в который, по народным повериям, бесы, испуганные крестом, особенно усердствуют напакастить христианам).

Как я узнал из своего «дела», показанного мне в 1992 г., звали дочь отца Сергия Юлией. Я жалею, что ничего не записывал. Я жил в такое значительное

время! Но дело даже не в этом: надо сохранить память обо всем и всех: это наш долг. Ясно, что она пошла вслед за отцом.

В братстве до его «официального» закрытия было всего три или четыре заседания. На одном из последних его заседаний И. М. Андреевский представил нам молодого человека, стоявшего перед нами в позе отрока Варфоломея на известной картине Нестерова, молитвенно сложив руки и невнятно, но «вдохновенно» что-то бормоча, ни к кому конкретно не обращаясь. И. М. Андреевский был от него в восторге: «Такой религиозный, такой религиозный!» Поросячьи глаза этого «религиозного» человека были между тем очень зорки. Здороваясь, он шептал: «Сережа», старательно узнавая имена и фамилии присутствовавших. Через несколько дней я встретил его в знаменитом университетском коридоре, где в те времена еще не были убраны длинные скамейки, на которых обычно сидели студенты, жарко споря по политическим и общемировоззренческим вопросам. Некоторых студентов можно было встретить постоянно, — как, например, красивого высокого юношу Борю Иванова — убежденного кантианца, а потом незаурядного религиозного мыслителя.

Я подошел к «Сереже», и мы о чем-то поговорили. В конце разговора он стал уговаривать меня принять участие в размножении каких-то прокламаций: «Мы их будем оставлять здесь в коридоре, и это будут огоньки, огоньки, вспыхнет пожар...». Я запомнил его выражения — «огоньки» и «пожар». Кто-то из студентов заметил мой разговор с «Сережей Ионкиным» и предупредил — «это провокатор». Расспрашивая меня, Ионкин узнал, что мой отец когда-то преподавал химию в Первом кадетском Николаевском корпусе. «Я у него учился, учился... Можно я к вам зайду?» Я сказал отцу. Отец ответил: «Ионкин? Я всех своих учеников помню по фамилиям. Такого у меня никогда не было».

Тогда я зашел к И. М. Андреевскому и предупредил его, что к нам затесался провокатор. Решено было изобразить самороспуск братства. В ближайшую же среду, на которую чуть ли не первым явился Ионкин, И. М. Андреевский встретил нас хмуро, уселся в глубокое, обитое синим бархатом кресло, подаренное ему одной из его учениц, и стал говорить о бесполезности наших собраний и о решении его больше не собираться. Призвав всех ходить по мере сил и веры в церковь и читать религиозную литературу, он встал и пожал на прощание каждому из нас руку. Речь И. М. Андреевского была настолько убедительна и, я бы сказал, разумна, что «Сережа Ионкин» поверил и оставил в покое Андреевского, а когда попытался в университете все-таки ко мне подойти (при этом он был серьезно пьян), я отшил его с несвойственной мне в том возрасте решительностью.

Просматривая свое «дело» в 1992 г., я увидел там показания некоего «Ивановского», которого нетрудно было отождествить с нашим Ионкиным. «Ивановский» был явным секретным агентом ГПУ. Никаких сведений о его официальном положении в «деле» нет, зато откровенно продемонстрирована его обязанность представить всех нас монархистами, яркими контрреволюционерами. Заодно обнаруживается его полнейшая безграмотность. Он был у Андреевского в тот период, когда мы еще предполагали называться «братством святого митрополита Филиппа». Ивановский-Ионкин не знал, кто это, и донес, что мы — «братство Кирилла, покровителя островов» (очевидно, он что-то слышал о том, что митрополит Филипп, которого он назвал Кириллом, был игуменом Соловецкого монастыря, расположенного на островах Белого моря).

У Андреевского после истории с провокатором Сергеем Ионкиным мы действительно некоторое время не собирались. Мне кажется, что Иван Михайлович был настроен целиком уйти в церковные дела, и разнообразие тем, которое демонстрировали собой собрания Хельфернака, становилось даже в какой-то мере неуместным в свете событий, которые переживала русская церковь.

Однако уйти от Ивана Михайловича совсем мы не могли. Потребность обменяться мнениями по поводу того, что происходило кругом, была слишком велика. Мы заходили незваные к Ивану Михайловичу, по-старому брали у него книги, вешая расписки на большой крючок, прибитый к одной из полок, а когда заставляли дома Ивана Михайловича, старались узнать его мнение по тому или иному поводу или послушать его рассказы о церковных событиях. Разумеется, круг сузился, но он все же был, и Иван Михайлович почувствовал, очевидно, что бросать нас он не имеет права. Заседания стихийно возобновились.

1 августа 1927 г., в день обретения мощей Серафима Саровского, на квартире родителей Люси Суратовой, прелестной и очень религиозной девушки, был отслужен молебен. Служил отец Сергей Тихомиров. Комната (очевидно, гостиная) была большая, светлая, служил отец Сергей с необыкновенным чувством.

В русском богослужении проявление чувства всегда очень сдержанно. Сдержанно служил и отец Сергей, но настроение передавалось всем каким-то особым образом. Не могу это определить. Это была и радость, и сознание того, что жизнь наша становится с этого дня какой-то совсем другой.

Мы расходились по одному. Против дома одиноко стояло орудие, стрелявшее в ноябре 1917 г. по юнкерскому училищу. Служки не было.

Братство Серафима Саровского просуществовало до дня нашего ареста 8 февраля 1928 г. Однако Иван Михайлович, имевший скромный недостаток — некоторую хвастливость и стремившийся иногда изобразить себя главой или



участником большого движения, почему-то впоследствии никогда не упоминал о Хельфернаке, а Братство считал существовавшим как бы изначально. Позже он утверждал, что и Космическая Академия (о ней в дальнейшем) была как бы филиалом Братства, принявшим свое пышное наименование в целях конспирации.

На самом деле из восьми «академиков» к Ивану Михайловичу ходили только я, Раков, Селиванов и Розенберг. П. П. Машков и А. С. Тереховко были атеистами. Оба они сердились, когда впоследствии на Соловках Иван Михайлович представлял их как своих учеников. Владимир Карлович Розенберг, старший брат Эдуарда, к Ивану Михайловичу тоже не ходил. И хотя в тюрьме он подружился с отцом Владимиром Пищулиным, но религиозным не был и формально оставался лютеранином.

### Космическая Академия Наук

Более безопасным казалось тогда общение в шуточных кружках. Казалось, никому в голову не придет преследовать людей, собирающихся, чтобы беззаботно провести время. Володя Раков, мой соклассник по Лентовской школе, пригласил меня бывать у них в КАНе — в Космической Академии Наук. Члены этой «академии» летом прошли от Владикавказа до Сухума по Военно-Осетинской дороге, обзавелись на Кавказе тросточками, заявили о своей верности дружбе, юмору и оптимизму. У членов КАН было свое приветствие — «хайре» (греч.), свой гимн, свои «конференц-залы», свой «хартифилак» — Федя Розенберг, свое священное место в Царском Селе на вершине Парнаса и т. д. Со мной нас было девять: Федя Розенберг («хартифилак»), его брат Володя Розенберг, Володя Раков и его друг Аркаша Селиванов, Андрюха Миханьков, Петр Павлович Машков (самый старший из нас), Коля Сперанский, Толя Тереховко и я. Из этих девяти «кановцев» двое хорошо писали стихи (Тереховко и Розенберг), один свободно владел греческим и латинским, на обоих языках писал стихи и подавал большие академические надежды (А. Миханьков), двое хорошо пели (Володя Раков и Аркаша Селиванов), один хорошо рисовал и знал мундиры всех русских полков конца XVIII — начала XIX вв. (Володя Раков). Федя Розенберг был всегда изумительно весел, непосредственен и находчив в своих выдумках. Словом, мы были обычной молодежью, собирались почти еженедельно, ничуть не скрываясь.

По своим докладам мы получали в КАНе «кафедры». Я сделал доклад об утраченных преимуществах старой орфографии и получил кафедру старой орфографии, или, как вариант — кафедру меланхолической филологии.

Сейчас часто читатели воспринимают мой «кановский» доклад (он опубликован в 1993 г. в Твери в книге «Неизвестный Лихачев») как вполне серьезный, но

стоит прочесть хотя бы его заглавие, пародирующее сочинения против древнерусских еретиков, чтобы понять, что доклад шуточный, хотя иные из его аргументов против отмены старой орфографии и замены ее «скучной», «унылой» и «безродной» никак не соответствуют современному мышлению. Доклад ироничен и соответствует духу карнавала, господствовавшему в Космической Академии.

Володя Раков занимал кафедру апологетического богословия, и это в какой-то мере серьезно, если учесть, что он и его друг Аркаша Селиванов, занимавший кафедру изящного богословия, были глубоко верующими людьми. Эдуард Карлович Розенберг — он вообще перешел в православие из лютеранства и принял имя Федор. Но с другой стороны, Толя Тереховко (кафедра изящной психологии) был принципиальный атеист. То же можно было сказать и о Петре Павловиче Машкове (кафедра изящной химии). Такое глубокое расхождение не мешало нам всем не только дружить, но и любить друг друга, находя удовольствие в пении хором русских песен и романсов, в совместных поездках в Царское Село и прогулках на лодке по Неве.

Космическая Академия Наук была своего рода маскарадным действием. Нами был провозглашен принцип «веселой науки» — науки, которая не только ищет истину, но истину радостную и облеченную в веселые формы. Кстати, принцип этот давно существует в ученном мире. Различные университетские торжества, парадные шествия, традиционные костюмы, пышные звания, церемонии, совместные прогулки, поездки — всегда носили и носят полусерьезный характер. Это тоже своего рода «веселая наука», ибо сама по себе наука, требующая полной отдачи своего времени и душевных сил, не должна быть скучной и однообразной.

Один из постулатов этой «веселой науки» состоял в том, что тот мир, который создает наука путем исследования окружающего, должен быть «интересным», более сложным, чем мир до его изучения. Наука обогащает мир, изучая его, открывает в нем новое, дотоле неизвестное. Если наука упрощает, подчиняет все окружающее двум-трем несложным принципам — это «невеселая» наука, делающая окружающую нас Вселенную скучной и серой. Таково учение марксизма, принижающее окружающее общество, подчиняющее его грубым материалистическим законам, убивающим нравственность, — попросту делающим нравственность ненужной. Таков всякий материализм. Таково учение Э. Фрейда. Таков же социологизм в объяснении литературных произведений и литературного процесса. К этому же разряду «ускучняющих» учений принадлежит и учение об исторических формациях. Не скажу, что в своем интересе к происходившему я полностью избежал этого напора упрощенчества в разных его видах, но в целом, в основном, в главном, я стремился найти в людях и в том, что изучал, сложное и интересное,

своеобразное и индивидуальное. И это было настолько увлекательно, что могло даже пересилить все то тяжелое, что выпало мне на долю, особенно в молодости.

В нашем студенческом кружке, игравшем особенно значительную роль в нашей жизни того периода, когда свободная философия и религия постепенно становились запретными, неофициальными, непризнаваемыми, создавался своего рода маскарад отнюдь не с целью какой-то конспирации. Напротив, шумные формы этого маскарада скорее могли привлечь внимание к нашему кружку. Так и случилось. Телеграмма якобы от папы римского с поздравлением к годовщине Академии привлекла внимание сверхбдительных организаций...

Создавалась эта «другая жизнь» нами всеми и еще одним способом. Один из «академиков», мой соклассник, а потом студент Строительного института (б. Институт гражданских инженеров) Володя Раков бойко (быстро и безошибочно) рисовал и владел акварелью. При этом он отлично знал формы русской армии начала XIX в., а также быт и костюмы той же эпохи. Он изображал нас всех и знакомых нам людей в различных ситуациях начала XIX в. Сочинял даже целые истории о нас. Если история была большой, он делал целый альбом и дарил его по какому-либо случаю главному герою рисованной истории. Женские роли исполняли то участница кружка Андреевского Валя Морозова, то сестра Толи Тереховко. Незнакомые в эту «рисованную жизнь» не допускались. У каждого из прототипов рисунков было свое амплуа. Старший из нас Петя Машков обычно изображался гусарским полковником, Валя Морозова — девочкой, играющей в серсо, крокет, прыгающей через веревочку или гоняющей палочкой обруч. Я в рисунках всегда был в штатском, иногда с «двойным лорнетом» («двойной лорнет» — в котором линзы располагались одна перед другой, и таким образом он мог настраиваться на резкость). Мы ждали появления рисованных историй с нетерпением и дружно смеялись, особенно если в них находили намеки на ситуацию, в которую попадали в реальной жизни. Один из таких альбомов, в которых все мы жили второй жизнью, у меня сохранился.

После нашего освобождения Володя Раков продолжал создавать в Петрозаводске свои альбомы...

М. М. Бахтин посещал, как я уже сказал, Хельфернак, где легко мог узнать о сообществе КАН. Мог он знать о нас и от Всеволода Бахтина, с которым я учился в университете на одном курсе. Больше того, М. М. Бахтин мог знать и о нашей второй сочиненной жизни и приключениях в рисунках Владимира Тихоновича Ракова. Широко известно было и поэтическое сообщество «Обериу», в котором господствовал тот же дух карнавала. Были десятки кружков, встреч, шутивных обычаев, которыми Петербург провожал свое блистательное прошлое.

Впоследствии А. А. Ахматова прекрасно уловила этот характер умирания культуры в своей «Поэме без героя».

Так монологическая культура «пролетарской диктатуры» сменяла собой полифонию интеллигентской демократии. С самого своего утверждения в нашей стране советская власть стремилась к уничтожению любого многоголосия. Страна погрузилась в молчание — только однотонные восхваления, единогласие, скука смертная, — именно смертная, ибо установление единоголосия и единогласия было равно смертной казни для культуры и для людей культуры.

### Арест и тюрьма

В начале февраля 1928 г. столовые часы у нас на Ораниенбаумской улице пробили восемь раз. Я был один дома, и меня сразу охватил леденящий страх. Не знаю даже, почему. Я слышал бой наших часов в первый раз. Отец не любил часового боя, и бой в часах был отключен еще до моего рождения. Почему именно часы решились в первый раз за двадцать один год пробить для меня мерно и торжественно?

Восьмого февраля под утро за мной пришли: следователь в форме и комендант наших зданий на Печатном Дворе Сабельников. Сабельников был явно расстроен (потом его ожидала та же участь), а следователь был вежлив и даже сочувствовал родителям, особенно, когда отец страшно побледнел и повалился в кожаное кабинетное кресло. Следователь поднес ему стакан воды, и я долго не мог отделаться от острой жалости к отцу.

Сам обыск занял немного времени. Следователь справился с какой-то бумажкой, уверенно подошел к полке и вытащил книгу Г. Форда «Международное еврейство» в красной обложке. Для меня стало ясно: указал на книгу мой знакомый по университету, который ни с того ни с сего заявился ко мне за неделю до ареста, смотрел книги и все спрашивал, плотоядно улыбаясь, — нет ли у меня какой-нибудь антисоветчины. Он уверял, что ужасно любит эту безвкусицу и пошлость.

Мать собрала вещи (мыло, белье, теплые вещи), мы попрощались. Как и все в этих случаях, я говорил: «Это недоразумение, скоро выяснится, я быстро вернусь». Но уже тогда в ходу были массовые и безвозвратные аресты.

На черном фордике, только-только появившемся тогда в Ленинграде, мы проехали мимо Биржи. Рассвет уже набрал силу, пустынный город был необычайно красив. Следователь молчал. Впрочем, почему я называю его «следователь». Настоящим следователем у меня был Александр (Альберт) Робертович Стромин, организатор всех процессов против интеллигенции конца 20-х — начала 30-х гг., создатель «академического дела», дела Промпартии и пр. Впоследствии он был в Саратове начальником НКВД и расстрелян «как троцкист» в 1938 г.

После личного обыска, при котором у меня отобрали крест, серебряные часы и несколько рублей, меня отправили в камеру ДПЗ на пятом этаже — дом предварительного заключения на Шпалерной (снаружи это здание имеет три этажа, но во избежание побегов тюрьма стоит как бы в футляре). Номер камеры был 273: градус космического холода.

В университете я увлекался Л. П. Карсавиным, а когда оказался в ДПЗ, то волею судеб попал в одну камеру с братом близкой Льву Платоновичу женщины. Помню этого юношу, носившего вельветовую куртку и тихонько, чтобы не услышала стража, отлично напевавшего цыганские романсы. Перед этим я читал книгу Л. П. Карсавина «Noctes petropolitanae».

Пожалуй, эта камера, в которой я просидел ровно полгода, была действительно самым тяжелым периодом моей жизни. Тяжелым психологически. Но в ней я познакомился с огромным числом людей, живших по совсем разным принципам.

Упомяну некоторых из моих сокамерников. В «одиночке» 273, куда меня толкнули, оказался энергичный нэпман Котляр, владелец какого-то магазина. Его арестовали накануне (это был период ликвидации НЭПа). Он сразу же предложил мне навести чистоту в камере. Воздух там был чрезвычайно тяжелый. Покрашенные когда-то масляной краской стены были черны от плесени. Стульчак был грязный, давно не чищенный. Котляр потребовал у тюремщиков тряпку. Через день или два нам бросили чьи-то шерстяные кальсоны. Котляр предположил — снятые с расстрелянного. Подавляя в себе подступавшую к горлу рвоту, мы принялись оттирать от плесени стены, мыть пол, который был мягок от грязи, а главное — чистить стульчак. Два дня тяжелой работы были спасительными. И результат был: воздух в камере стал чистым. Третьим толкнули в нашу «одиночку» профессионального вора. Когда меня вызвали ночью на допрос, он посоветовал мне надеть пальто (у меня с собой было отцовское теплое зимнее пальто на беличьем меху): «На допросах надо быть тепло одетым — будешь спокойнее». Допрос был единственным (если не считать обычного заполнения анкеты перед тем). Я сидел в пальто, как в броне. Следователь Стромин (организатор, как я уже сказал, всех процессов конца 20-х — начала 30-х гг. против интеллигенции, — не исключая и неудавшегося «академического») не смог добиться от меня каких-либо нужных ему сведений (родителям моим сказали: «Ваш сын ведет себя плохо»). В начале допроса он спросил: «Почему в пальто?» Я ответил: «Простужен» (так научил меня вор). Стромин, видимо, боялся инфлуэнцы (так называли тогда грипп), и допрос не был изматывающе длинным.

Потом в камере попеременно были: мальчик китаец (по каким-то причинам в ДПЗ сидело в 1928 г. много китайцев), у которого я безуспешно пытался

учиться китайскому; граф Рошфор (кажется, так его фамилия) — потомок составителя царского положения о тюрьмах; крестьянский мальчик, впервые приехавший в город и «подозрительно» заинтересовавшийся гидропланом, которого никогда раньше не видел. И многие другие. Интерес ко всем этим людям поддерживал меня.

Гулять полгода водил нашу камеру «дедка» (так мы его звали), который при царском правительстве водил и многих революционеров. Когда он к нам привык, он показал нам и камеры, где сидели разные революционные знаменитости. Жалею, что я не постарался запомнить их номера. Был «дедка» суровый служака, но он не играл в любимую игру стражников — метлами загонять друг к другу живую крысу. Когда стражник замечал пробегающую крысу на дворе, он начинал ее мести метлой — пока она не обессилит и не сдохнет. Если находились тут же другие стражники, они включались в этот гон и с криками гнали метлой крысу друг к другу — в воображаемые ворота. Эта садистская игра вызывала у стражников необычайный азарт. Крыса в первый момент пыталась вырваться, убежать, но ее мели и мели с визгом и воплями. Наблюдавшие за этим из-под «намордников» в камерах заключенные могли сравнивать судьбу крысы со своей.

Спустя полгода следствие закончилось, и меня перевели в общую библиотечную камеру. В библиотечной камере (в которой, кстати, после меня сидел Н. П. Андиферов, как он сам вспоминает) было много интереснейшего народа. Спали на полу — даже впритык к стульчаку. Там для развлечения мы попеременно делали «доклады» с последующим их обсуждением. Неистребимая в русской интеллигенции привычка к обсуждению общих вопросов поддерживала ее и в тюрьмах, и в лагерях. Доклады все были на какие-либо экстравагантные темы, с тезисами, резко противоречащими общепринятым взглядам. Это была типичная черта всех тюремных и лагерных докладов. Придумывались самые невозможные теории. Выступал с докладом и я. Тема моя была о том, что каждый человек определяет свою судьбу даже в том, что могло показаться случаем. Так, все поэты-романтики рано погибали (Китс, Шелли, Лермонтов и т.д.). Они как бы «напрашивались» на смерть, на несчастья. Лермонтов даже стал хромать на ту же ногу, что и Байрон. Относительно долголетия Жуковского я высказал тоже какие-то соображения. Реалисты, напротив, жили долго. А мы, следуя традициям русской интеллигенции, сами определили свой арест. Это наша «вольная судьба». Через полвека, читая «Прогулки с Пушкиным» А. Синявского, я подумал: «Какая типично тюремно-лагерная выдумка» — вся его концепция о Пушкине. Впрочем, я и еще делал такие «ошарашивающие» доклады, — но уже на Соловках. Об этом после.



Самым интересным человеком в библиотечной камере был, несомненно, глава петроградских бойскаутов граф Владимир Михайлович Шувалов. Сразу после революции я встречал его иногда на улицах в бойскаутской форме с высокой бойскаутской палкой и в своеобразной шляпе. Сейчас, в камере, он был сумрачен, но крепок и подтянут. Занимался он логикой. Насколько я помню, это были какие-то соображения, продолжавшие «Логические исследования» Гуссерля. Как он мог для работы полностью отключаться от шумной обстановки камеры — не понимаю. Должно быть, у него была большая воля и большая увлеченность. Когда он излагал результаты своих поисков, я, хотя и занимался перед этим логикой у А. И. Введенского и С. И. Поварнина (у которого занимался ранее и сам Шувалов), с трудом его понимал.

Впоследствии он получил высылку и полностью исчез из моего поля зрения. Кажется, его родственница (может быть, жена) работала в Русском музее, занимаясь иконами.

Странные все-таки дела творились нашими тюремщиками. Арестовав нас за то, что мы собирались раз в неделю всего на несколько часов для совместных обсуждений волновавших нас вопросов философии, искусства и религии, они объединили нас сперва в общей камере тюрьмы, а потом надолго в лагерях, комбинировали наши встречи с другими такими же заинтересованными в решении мировоззренческих вопросов людьми нашего города, а в лагерях — широко и щедро с людьми из Москвы, Ростова, с Кавказа, из Крыма, Сибири. Мы проходили гигантскую школу взаимобучения, чтобы исчезать потом в необъятных просторах нашей родины.

В библиотечной камере, куда по окончании следствия собирали людей, ожидавших срока, я увидел сектантов, баптистов (один из них перешел нашу границу откуда-то с запада и ожидал расстрела, не спал ночами), сатанистов (были и такие), теософов, доморощенных масонов (собиравшихся где-то на Большом проспекте Петроградской стороны и молившихся под звуки виолончели; кстати, — какая пошлость!). Фельетонисты ОГПУ «братья Тур» пытались время от времени вывести всех нас в смешном и зловредном виде (о нас они опубликовали в «Ленинградской правде» пересыпанный ложью фельетон «Пепел дубов», о других — «Голубой интернационал» и пр.). О фельетоне «Пепел дубов» вспоминал впоследствии и М. М. Бахтин.

Объединились и наши родные, встречаясь на передачах и у различных «окошечек», где давали, а чаще не давали, справки о нас. Советовались — что передать, что дать на этап, где и что достать для своих заключенных. Многие подружились. Мы уже догадывались — кому и сколько дадут.

Однажды всех нас вызвали «без вещей» к начальнику тюрьмы. Нарочито мрачным тоном начальник тюрьмы, как-то особенно завывая, прочел нам приговор. Мы стоя его слушали. Неподражаем был Игорь Евгеньевич Аничков. Он с демонстративно рассеянным видом разглядывал обои кабинета, потолок, не смотрел на начальника и, когда тот кончил читать, ожидая, что мы бросимся к нему с обычными ламентациями: «мы не виноваты», «мы будем требовать настоящего следствия, очного суда» и пр., Игорь Евгеньевич, получивший 5 лет, как и я, подчеркнуто небрежно спросил: «Это все? Мы можем идти?» — и, не дожидаясь ответа, повернул к двери, увлекая нас за собой, к полному недоумению начальника и конвоиров, не сразу спохватившихся. Это было великолепно!

Заодно пользуюсь случаем, чтобы исправить некоторые неточности, сообщаемые О. В. Волковым в книге «Погружение во тьму» (Париж, 1987. С. 90—94). И. Е. Аничков имел не 3 года лагерного срока, а 5 лет, и после «освобождения» в 1931 г. скитался по ссылкам так же, как и сам О. В. Волков. После смерти Сталина И. Е. Аничков вернулся в Ленинград, где несколько лет преподавал в Педагогическом институте, подвергаясь постоянным «проработкам» за нежелание признавать «новое учение о языке» Н. Я. Марра и марксистское учение в целом. Его мать Анна Митрофановна Аничкова никогда профессором университета не была, жила частными уроками и преподаванием языков в частном же «Фонетическом институте» С. К. Боянуса и умерла весной 1933 г. в коммунальной квартире на Французской набережной.

Недели через две после вынесения приговора нас всех вызвали «с вещами» (на Соловках выкрикивали иначе: «Вyleтай пулей с вещишками») и отправили в «черных воронах» на Николаевский (теперь Московский) вокзал. Подъехали к крайне правым путям, откуда сейчас отправляются дачные поезда. По одному мы выходили из «черного ворона», и толпа провожавших в полутьме (был октябрьский вечер), узнавая каждого из нас, кричала: «Коля!», «Дима!», «Володя!». Толпу еще не боявшихся тогда родных и друзей, просто товарищей по учению или службе грубо отгоняли солдаты конвойного полка с шашками наголо. Два солдата, размахивая шашками, ходили перед провожавшими, пока нас один конвой передавал другому по спискам. Сажали нас в два «стольпинских» вагона, считавшихся в царское время ужасными, а в советское время приобретших репутацию даже комфортабельных. Когда нас наконец распахали по клеткам, новый конвой стал нам передавать все то, что было принесено нам родными. От Университетской библиотеки я получил большой кондитерский пирог. Были и цветы. Когда поезд тронулся, из-за решетки показалась голова начальника конвоя (о идиллия!), дружелюбно сказавшая: «Уж вы, ребята, не сердчайте на нас: служба такая! Что если недосчитаемся?» Кто-то ответил: «Ну, а зачем же непременно матом и шашками на провожавших?»

### Кемперпункт и переправа на остров Соловки

Наше счастье было в том, что отправляли нас на Соловки — тех, кто получил трехлетний срок, и тех, кто получил по пяти, — всех вместе в одном вагоне, хотя и в разных клетках (так называемые «стольпинские» вагоны имели решетки в коридор, по которому ходил конвой). И все-таки мы общались, делились сведениями о судьбе, о допросах, — кто что сказал. Больше всего мы боялись, что нас разлучат в лагере.

Я не описываю подробно первые дни в Кеми, на Поповом острове, в тринадцатой роте на Соловках. Дело в том, что как только я получил возможность работать на канцелярской работе, я стал вести записи и прятал их среди канцелярских бумаг, а затем отправил с родителями, приезжавшими ко мне на свидание весной 1929 г. Мне нет необходимости повторять все, что там сказано. Отмечу только, что при высадке из вагона конвоир разбил мне сапогом в кровь лицо, что над нами измывались как только могли. Кричали нам: «Здесь власть не советская — здесь власть соловецкая». Откуда и пошло название известного документального фильма «Власть соловецкая». То угрожающе надвигаясь на нас, то отступая, принимавший этап Белозеров ругался виртуозно. Я не мог поверить, что кошмар этот происходит наяву. Помню (это сверх моих записок, которые я сделал в Соловках в 1929 г.), одна из самых «приличных» угроз нам была: «Сопли у мертвецов сосать заставлю!» Когда я рассмеялся (впрочем, вовсе не от того, что мне было весело), Белозеров закричал на меня: «Смеяться потом будем», но не избил...

Должен отметить, что о начальниках мы знали только по слухам, ходившим среди заключенных, и в мои соловецкие записи вкрались ошибки, которые затем утвердились в литературе — особенно через «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и тех, кому я рассказывал о лагере.

Принимали этапы в Кемперпункте двое по очереди: Курилко и Белозеров. Последнего я называл Белобородовым по ошибке: заключенные приписали ему эту фамилию, очевидно, путая с тем Белобородовым, что расстреливал царскую семью. Ни один из них не был гвардейским офицером, как у меня было сказано, и не говорил по-французски (разве что, зная одну-две фразы, находил особое удовольствие шеголять ими перед бесправными заключенными). Человек, видевший лично дело Курилко в Петрозаводске в 1989 г., говорил мне, что Курилко служил в Красной Армии, но в перипетиях Гражданской войны месяца два служил и в Белой. Однако сам выдавал себя за гвардейца. И от Н. П. Андиферова уже после нашего освобождения я слышал, что когда он (Андиферов) сидел в камере, дожидаясь расстрела (которого, к счастью, избежал) вместе с Курилкой, то тот якобы сказал перед расстрелом: «Я умираю как чекист и гвардейский

офицер». Он потребовал, чтобы ему стреляли не в затылок, а в лоб. Вполне возможно, что те два месяца, что Курилко был в Белой Армии, он служил в полку, носившем звание гвардейского.

Я пишу это для того, чтобы знали, что настоящие гвардейские офицеры, все до одного, кого я встречал на Соловках, были людьми честными: к зверствам охранников не имели отношения, в охране никогда не служили, да и не могли служить: принимали во внутреннюю охрану только «бытовиков»: непрофессиональных уголовных преступников-убийц, насильников и т.п.

На ночь нас погнали на Попов остров, чтобы запихнуть в сарай, а наутро переправить на остров. В сарае мы стояли всю ночь. Нары были заняты полуголыми «урками» (мелкими воришками), «вшивками», обстреливавшими нас вшами, в результате чего мы через час уже были покрыты ими с головы до ног. Только притушили свет — точно темный занавес начал опускаться по стенам на лежащих. Это ползли клопы. И среди всего этого ада был кусочек рая: на маленьком пространстве нар, которое стерегли два статных красавца-кабардинца в национальной одежде, лежали старики — священник и мулла. Под утро, когда я уже не мог стоять на отекавших за ночь ногах (даже сапоги стали малы), один из кабардинцев — Дивлет-Гирей Албасидович (я запомнил его имя, ибо вечно ему благодарен), видя мое состояние, уступил мне место, и я смог полежать.

Священник, рядом с которым я лег, украинец по происхождению, сказал мне: «Надо найти на Соловках отца Николая Пискановского — он поможет».

Почему именно он поможет и как — я не понял. Решил про себя, что отец Николай занимает, вероятно, какое-то важное положение. Предположение нелепейшее: священник и «ответственное положение»! Но все оказалось верным и оправдалось: положение у отца Николая состояло в уважении к нему всех начальников острова, а помог он мне на годы.

На следующий день нас грузили на пароход «Глеб Бокий», что отправлялся на Соловки. Домушник (вор по квартирам со взломами) Овчинников стоял рядом и предупреждал: «Только не торопитесь, будьте последними».

Он был второй раз на Соловках. Первый раз бежал. Явился к своей «марухе» на Сенной в Ленинграде и был схвачен. Прошел всю дорогу к ней пешком по шпалам с «когтями» за спиной. Когда замечал патруль, то надевал когти и залезал на ближайший телеграфный столб. Разумеется, со столба его патруль не снимал: человек работает!

Избит Овчинников был в Кемперпункте страшно. Избивали его за то, что подвел часовых, начальников, «испортил статистику» (считалось, что с Соловков

бежать нельзя). Но и избитый домушник оставался человеком. Мы его подкармливали, а он помогал нам своим лагерным опытом. Когда людей стали запикивать в трюм, он затащил нас на площадку посередине трапа и посоветовал не спускаться ниже. И действительно, там внизу люди начали задыхаться. Нас же команда выпустила раз или два подышать. После девяти месяцев тюрьмы я с жадностью дышал свежим морским воздухом, смотрел на волну, на проходившие мимо безлесые острова.

Около Соловков нас снова запикинули в чрево «Глеба Бокого» (этот живой человек, в честь кого был назван пароход, — людоед — главный в той тройке ОГПУ, которая приговаривала людей к срокам и расстрелам). По шуршанию льда о борта парохода мы поняли, что подходим к пристани. Был конец октября, и у берегов стал появляться «припай» — береговой лед. Вывели нас на пристань с вещами, построили, пересчитали. Потом стали выносить трупы задохнувшихся в трюме или тяжело заболевших: стиснутых до перелома костей, до кровавого поноса.

Нас, живых, повели в баню № 2. В холодной бане заставили раздеться и одежду увезли в дезинфекцию. Попробовали воду — только холодная. Примерно через час появилась и горячая. Чтобы согреться, я стал беспрерывно поливать себя горячей водой. Наконец, вернули одежду, пропахшую серой. Оделись. Повели к Никольским воротам. В воротах я снял студенческую фуражку, с которой не расставался, перекрестился. До того я никогда не видел настоящего русского монастыря. И воспринял Соловки, Кремль не как новую тюрьму, а как святое место.

Прошли одни ворота, вторые и повели в 13-ю роту. Там при свете «летучих мышей» (были такие, не гаснущие на ветру фонари) нас пересчитали, обыскали.

Помню, я никак не мог завязать после обыска свою корзинку, которую купили мне родители: легчайшую и прочнейшую, имевшую форму чемодана, и никак не мог проглотить печенье, что оказалось в корзине. Горло мое так отекло, распухло, что глотнуть я не мог. С большой болью, размешав кусочек печенья в обильной слюне, я проглотил.

Затем произошло неожиданное. Отделенный (мелкий начальник над каким-то участком нар) подошел именно ко мне (верно, потому, что я был в студенческой фуражке и он поверил ей), попросил у меня рубль и за этот рубль, растолкав всех на нарах, дал место мне и моим товарищам. Я буквально свалился на нары и очнулся только утром. То, что я увидел, было совершенно неожиданно. Нары были пустые. Кроме меня оставался у большого окна на широком подоконнике тихий священник и штопал свою ряску. Рубль сыграл свою роль вдвойне: отделенный не поднял меня и не погнал на поверку, а затем на работу. Разговорившись со

священником, я задал ему, казалось, нелепейший вопрос, не знает ли он (в этой многотысячной толпе, обитавшей на Соловках) отца Николая Пискановского. Перетряхнув свою рясу, священник ответил: «Пискановский? Это я!»

Сам неустроенный, тихий, скромный, он устроил мою судьбу наилучшим образом. Но об этом потом. А пока, оглядевшись, я понял, что мы с отцом Николаем вовсе не одни. На верхних нарах лежали больные, а из-под нар к нам потянулись ручки, прося хлеба. И в этих ручках тоже был указующий перст судьбы. Под нарами жили «вшивки» — подростки, проигравшие с себя всю одежду. Они переходили на «нелегальное положение» — не выходили на проверки, не получали еды, жили под нарами, чтобы их голыми не выгоняли на мороз, на физическую работу. Об их существовании знали. Просто вымаривали, не давая им ни пайков хлеба, ни супа, ни каши. Жили они на подачки. Жили, пока жили! А потом мертвыми их выносили, складывали в ящик и везли на кладбище.

Это были безвестные беспризорники, которых часто наказывали за бродяжничество, за мелкое воровство. Сколько их было в России! Дети, лишившиеся родителей, — убитых, умерших с голоду, изгнанных за границу с Белой армией, эмигрировавших. Помню мальчика, утверждавшего, что он сын философа Церетели. На воле спали они в асфальтовых котлах, путешествовали в поисках тепла и фруктов по России в ящиках под пассажирскими вагонами или в пустых товарных. Нюхали они кокаин, завезенный во время революции из Германии, нюхару, анашу. У многих перегорели носовые перегородки. Мне было так жалко этих «вшивок», что я ходил как пьяный — пьяный от сострадания. Это было уже во мне не чувство, а что-то вроде болезни. И я так благодарен судьбе, что через полгода смог некоторым из них помочь.

Одной из моих первых забот было сохранить вещи, чтобы не украли. В один из первых дней (может быть, даже в первый) я передал корзину с вещами кому-то из людей, живших в канцелярских ротах. Потом я научился спать так, чтобы не украли мой романовский полушубок. Ложась на нары, я переворачивал его полами к лицу, продевал разутые ноги в рукава, а сапоги клал под голову, как подушку. Даже при моем крепчайшем юношеском сне меня нельзя было обокрасть, не разбудив.

Утром я получал свою пайку хлеба и кипяток в большую эмалированную кружку, которой снабдили меня заботливые родители. По возвращении с работы в ту же кружку мне наливали поварешкой похлебку. Наряды на работу давали утром во тьме, у столов, освещавшихся «летучей мышью», отправляли на работу группами.

У меня вторая группа трудоспособности, которую определила медицинская комиссия еще в Кемперпункте, поэтому отправляли меня на работы сравнительно легкие.



На 1929 г. приходится столько событий, что моя память невольно перенесла на следующий год целые истории. Дело осложнилось еще и тем, что на 1929 г. пришлось целых два приезда моих родителей ко мне — один приезд был весной, а другой осенью. Всего на Соловках у меня было три свидания с родителями, но в последний год пребывания на Соловках — 1931 — ни одного, так как меня должны были летом отправить на Беломоро-Балтийское строительство. Вот и получилось так, что события, связанные со вторым свиданием, перекечевали в моей памяти на 1930 г., а то, что было в 1930 г., на 1931 г. Осень расстрелов разделилась на две осени и на две кампании расстрелов, а отъезд А. И. Мельникова, с которым у меня было связано много важных для меня фактов, оказался на год раньше, чем я, вспоминая свое соловецкое житье-бытье, долго считал. Только получив точную справку о дате смерти А. И. Мельникова в Кеми, смог разобраться в хронологии своих припоминаний.

Итак, продолжаю свой рассказ. Сколько «специальностей» я переменял в 13-й роте! Редко удавалось попасть на одну и ту же работу. Больше всего мне запомнились — пильщиком дров на Электростанции, грузчиком в порту, вридлом («временно исполняющим должность лошади») по Муксаломской дороге в упряжке тяжело нагруженных саней, электромонтером в Мехзаводе (по-старому — в «монастырской кузне»), рабочим в Лисьем питомнике (у О. В. Волкова и Н. Э. Серебрякова) и, наконец, коровником в Сельхозе.

Об этой последней работе стоит рассказать особо. Прикрепили меня к ветеринару Комчебек-Возняцкому. Это был настоящий авантюрист, чудовищный враль. Уверял, что он командовал эскадрилей самолетов, профессорствовал (читал где-то лекции по международным делам). Мне он объявил, что в коровнике «эпизоотия», что ему некогда заниматься коровами, так как он пишет докладную записку в Москву о каком-то заговоре и его должны туда вызвать (его потом и в самом деле вызвали), что коровам надо ставить градусники, записывать температуру и усиленно кормить болтушкой, которую следует варить у озера в бывшей монастырской портомойне. Затем показал мне — где мука, и ушел, бросив на меня несколько десятков коров, истошно мычавших от голода. Я не знал, что делать, пытался его искать (он уверял, что живет в 1-й роте и у него отдельная комната с роялем), ставил коровам градусники, втыкая их под хвост, и приходил в ужас от температуры (около 40°, что для коров, как потом узнал, нормально). В конце концов, решил, что важнее всего коров накормить, и пытался варить болтушку, которая у меня пригорела, коровы ее не ели. Мне в помощь дали какого-то флегматичного эстонецца. Он возмутился Комчебеком, и мы с ним как-то накормили вполне здоровых коров хорошей (как уверял меня эстонец), особой, монастырской породы.

Я постарался разыскать владыку Виктора (см. о нем ниже) и рассказал ему о своем положении. Владыка сказал мне, что Комчебек ужасный «авантюрьер» и надо решительно не ходить к нему на работу. Как мне удалось уклониться от работы в Сельхозе, — я уже не помню. Знаю только, что Комчебека по его доносу вызвали самолетом в Москву, и он исчез. Был он явно умалишенным, не только мерзавцем и вором («эпизоотия» ему нужна была, чтобы получать лишнюю муку на коров, якобы больных). Срок карантина в конце концов прошел, и меня перевели из 13-й роты в 14-ю, где уже находились Федя Розенберг, Володя Раков, Толя Тереховко и др. Вызов на работу в Криминологический кабинет, обещанный мне А. Н. Колосовым, не поступал. Я продолжал работать на «общих работах». «Сумасшедший дом» продолжался.

Места в 14-й роте на нарах у меня не было, и я стелил свою постель на полу после того, как все улягутся. У меня болел желудок (я еще не знал, что у меня язва), и архитектор Клейн, которого я по невежеству принимал сперва за строителя Музея изящных искусств в Москве, советовал мне получать сухой паек и варить кашу на стоявшей в камере буржуйке. Сам он варил манную кашку в небольшой кастрюльке и был чрезвычайно худ. Через несколько месяцев он умер (у него был рак).

Однажды я вернулся с работ и почувствовал что-то новое: страшно болела голова, я не мог даже стоять. Володя Раков уступил мне свое место на верхних нарах. В глазах у меня темнело, начался бред. Вызвали леккома.

Температура оказалась 40°. Необходимо было лечь в лагерьную больницу. Уже поздно вечером мои разыскали делопроизводителя Медчасти Г. М. Осоргина. Он дал направление в больницу, но как меня туда доставить? Меня волочили под руки Федя Розенберг и Володя Раков, был и еще кто-то третий. Хотя я был в полусознательном состоянии, но хорошо запомнил этот переход через двор в подворотню и налево в приемный покой.

Поволокли в ванну. Ванна стояла в большом помещении, была уже наполнена водой. Мне было невероятно противно: кто-то уже мылся в ванне и, видимо, давно — вода была совершенно холодной. Поразительно, что я не простудился. Кто-то мне говорил потом, что холодная ванна при высокой температуре была даже полезной. Потом помню себя лежащим в большой палате на чистой простыне. Несмотря на сильнейший жар, испытываю состояние блаженства: вшей нет. Ложки мягкое. Беспokoюсь о вещах: где полушубок и корзинка? Подходит Андреевский: он здесь врачом, тут и живет. Моя корзинка у него под топчаном. Вскоре установлен диагноз: сыпной тиф. Дня через три я лежу уже в помещении для тифозных на соломе на полу. Помещение устроено в каком-то бывшем складе.

При переносе в тифозный изолятор меня обокрали. Помню фамилию и должность вора: лекпом Астахов. Помню потому, что Андреевский просил меня подписать заявление, что Астахов меня не обкрадывал. Я отказался: заявление казалось мне нелепым. Но краж у Астахова оказалось много, и его осудили. Я даже видел его, как он работал на каких-то тяжелых работах. Это был интеллигентный человек (по крайней мере, интеллигентного вида), и я очень мучился потом, что в его осуждении (сколько-то месяцев карцера) я отчасти виноват, причастен...

Потом в беспросветной темноте соловецких зимних суток появились часа два светлых. Со своей койки я видел луковицу надвратной Благовещенской церкви. На луковице креста не было, но место это помнили соловецкие чайки. Первая, прилетевшая весной на остров, садилась именно тут, и это был знак весны: через две недели прилетали все остальные чайки. До прилета чайки было еще далеко. Я смотрел в окно, и мне было бесконечно тяжело...

В тифозном бараке у меня был и кризис. Г. М. Осоргин прислал мне в бутылке немного красного вина, но я по своим «антиалкогольным убеждениям» пить не стал и отдал вино кому-то другому. Помню отчетливо свой бред. Бред странный: он не переносит меня в какое-то другое помещение. Я продолжаю лежать на соломе, и ко мне подвозят санки, на которых горой лежат лапти. Я должен эти лапти раздавать «вшивкам» — подросткам, которые голыми жили в 13-й роте под нарами. Я пытаюсь встать и начать эту работу и не могу. В конце концов, кто-то вернул меня на мое место, но меня мучает, что я не могу раздать лапти. Подростки в одном белье меня окружают, просят.

Из больницы я попадаю в «команду выздоравливающих», освобожденных от работы. Я лежу в каком-то подвале недалеко от прачечной.

Когда я был потом на Соловках в 1966 г., этот подвал без верхнего этажа почти перестал существовать. Не мог себе представить, что я там когда-то лежал. И тогда надо было в него спускаться. Прямо над головой в полуметре нависал кирпичный свод, в котором к тому же была щель, откуда на меня постоянно дуло.

У выхода из помещения команды выздоравливающих дежурил «каталикос», не то армянский, не то грузинский. Я искал — кто это мог быть, расспрашивал и армян, и грузин, но так мне и не удалось установить, кто он был. Его пост был рядом с парашей, большой, железной, к которой вела короткая деревянная лестница с площадочкой. Он подавал мне руку и помогал забраться. Никогда этого я не забуду. Хотя почему мне забывать в оставшуюся небольшую часть моей жизни, если я не забывал этого до сих пор 65 лет! Помню: вставать я могу только с большим трудом. Мой сосед — крестьянин. Живое воплощение Платона Каратаева. Он говорит мне как-то: «Я научу тебя чему-то, но ты обещаешь мне,

что не разболтаешь. С этим ты всегда будешь сыт». Он говорит мне: «Галоши к валенкам нужны повсюду: надо только уметь их делать». И он учит меня. Рисует выкройку, показывает, как уменьшать или увеличивать размер. Резать резину никто не умеет. Весь секрет в том, что резину надо резать ножницами в воде. Резину легко достать у шоферов: ничего, что красная. Видимо, галоши — это главная его надежда на будущее благополучие после возвращения домой.

### Лагерная топография Соловков

Из разговоров на Соловках в 1929 г. я помню: плотность «населения» на Соловках больше, чем в Бельгии. При этом огромные площади лесов и болот не только не населены, но и неизвестны.

Что же было на Соловках? Гигантский муравейник? Да, муравейник был, — между зданиями трудно было даже протолкаться. Давка при входе и выходе у 13-й роты — рядом с Преображенским храмом. Охранники из заключенных с палками («дрынами») «наводили порядок». И при этом вход и выход разрешен каждому — только с «нарядами» — листами на работу.

Ночью проходы между зданиями затихали. Высились богатырские стены, башни и храмы, устойчиво опиравшиеся на расширявшиеся книзу стены.

Попробую описать устройство лагеря. В Кремле (так называлась часть монастырских строений, огражденная стенами из гигантских валунов, поросших оранжевым лишайником) было четырнадцать рот. 15-я рота, вне монастыря, — для заключенных, живших в различных «шалманах» — при мехзаводе, алебастровом заводе, при бане № 2 и т.д. Про лагерное кладбище говорили — 16-я рота. Шутили, но трупы в некоторых ротах зимой лежали незасыпанные и раздетые.

Почему заключенные распределялись по ротам? Я думаю, тут известную роль сыграли заключенные из военных, сами устанавливавшие порядок среди первых прибывших на острова лагерников. Тюремщики сами ничего не могли сделать, организовать тем более. Военные были поначалу единственной организующей силой, способной разместить, накормить, навести элементарный порядок среди прибывавших и прибывавших на острова Соловецкого архипелага заключенных. Они и делали многое по армейскому образцу.

1-я рота была ротой «привилегированных» — командиров, начальников. Она помещалась за алтарем Преображенского собора и глядела окнами на площадь общелагерных проверок. Над 1-й ротой помещалась 3-я, «канцелярская», с окнами в обе стороны. Где была 2-я рота, не помню. 6-я — «сторожевая» — состояла в основном из священников, монахов, епископов. Им поручалась работа, на которой нужна была честность: сторожить склады, каптерки, выдавать посылки

заключенным и т. д. Она помещалась в основном здании, тоже обращенном на площадь поверок. 7-я рота — «артистическая». Здесь жили работники культурно-воспитательной части: актеры, музыканты, административные деятели учреждений, изображавшие собой «перевоспитательную» работу на Соловках. 8-я, 9-я и 10-я роты тоже были «канцелярскими». 11-я рота — это карцер. Он помещался у Архангельских ворот. Там заключенные сидели на «жердочках» — узких высоких скамьях, а спали прямо на полу. К карцеру пришлось прибегнуть, когда в Соловки стали прибывать уголовные и против них стали приниматься меры самими заключенными «каэрами» («контрреволюционерами», по терминологии начальства). В конце концов прибытие нового большого числа заключенных заставило превратить в роту трапезную. Трапезная единостолпная палата, по своим размерам превосходившая Грановитую палату Московского Кремля, первоначально использовалась по своему прямому назначению — как общая столовая для всех заключенных. Когда помещений в монастыре стало не хватать, превратили в роту помещение, вход в которое был через трапезную. Это была 12-я рота.

Из всех рот 13-я была самой большой и самой страшной. Туда принимали вновь прибывавшие этапы. Там их муштровали, чтобы сломить всякое желание сопротивляться или протестовать, и направляли на тяжелые физические работы. Все прибывающие на Соловки обязаны были пробыть в 13-й роте не менее трех месяцев. Называлась рота «карантинной».

Нас выстраивали по утрам на длительную поверку по коридорам, окружавшим Троицкий и Преображенский храмы. Строились по десять человек, пересчитывались, и последний в строю орал, помню: «Сто восемьдесят второй полный строй по десяти».

Порой в 13-й карантинной роте на нарах вплотную друг к другу помещалось три-четыре, а то и пять тысяч человек. Конечно, мы все были во вшах. Только по особым ходатайствам удавалось вызволить кого-либо из карантинной роты.

Помню, как начальник здоровался с нами:

— Здравствуй, карантинная рота!

И мы, сосчитав про себя до трех, после последних слов этого «приветствия», хором гаркали:

— Здра!

Затем по очереди подходили к маленьким столикам, за которыми сидели нарядчики (среди них «чубаровцы»: участники ужасающего группового изнасилования в Чубаровом переулке в 1927 г. в Ленинграде), и получали наряды на работу.

В 14-й роте, помещавшейся за единостолпной трапезной палатой, и в прилегающих помещениях жили те, кто не был еще распределен после трехмесячного

пребывания в 13-й роте по «командировкам» и дожидался отправки на лесозаготовки, торфоразработки и всякие производства.

15-я рота, иначе «сводная», была для тех, кто жил по разным углам за пределами Кремля. Эта рота считалась самой блатной, т. е. самой привилегированной. На этом официальное число рот в лагере заканчивалось. Кроме того, были «командировки» — заключенные, работавшие в Савватиеве, Филимонове, на островах — Муксалме, Анзере, Зайчиках, на различных торфо- и лесоразработках. «16-я рота», как я уже сказал, — кладбище.

Кроме рот, в Кремле существовал отдельно обширный лазарет, где обычно все было до предела переполнено, и «команда выздоравливающих» в подвале, недалеко от прачечной.

Вот, кажется, и все из «жилого» фонда в центральном «кремлевском» участке. Кроме «жилых» помещений, в пределах Кремля были еще и «работающие»: баня, там, где Сушило; адмчасть, распоряжавшаяся всем порядком и снабжением лагеря (тут работали главным образом лучшие организаторы — бывшие военные); ИСЧ (информационно-следственная часть), сочинявшая для собственного существования различные «заговоры», выслушивающая информаторов (сексотов) из заключенных (для их приема был предназначен ныне не существующий деревянный домик под Сторожевой башней вне Кремля); «Помоф» (пошивочная мастерская, где работали по преимуществу женщины). «Помоф» и часть лазарета помещались в первом отсеке Кремля недалеко от Никольских ворот. Был театр с фойе, служившим также лекционным залом. Но самое главное — в Кремле существовал музей. В музее было даже уютно, а в театре ставились замечательные постановки, играли прекрасные актеры, но попасть в него было труднее, чем сейчас в Большой театр в Москве.

Наконец, в Кремле, в первом его отсеке с отдельным выходом через Сельдяные ворота (сейчас ими не пользуются), существовал «монастырь»: два десятка монахов с игуменом, схимником (не путать с отшельником, якобы жившим где-то в лесах) и отведенной для монахов на кладбище деревянной Онуфриевской церковью, где совершались богослужения. Эти монахи были специалистами по рыбной ловле. Они умели управляться с сетями, знали течения в море, ход рыбы и т. д. Ловили они навагу, но главным образом — знаменитую соловецкую сельдь, шедшую на столы Московского Кремля, за что сельдь эту еще называли «кремлевской». Когда Онуфриевскую церковь закрыли, сельдь «исчезла» (может быть, в знак невыполнения УСЛОНОм своих обязательств перед монахами?). Что случилось потом с монахами — изгнали или уничтожили, — сказать не могу, не знаю. Жил монах и на Муксалме, умевший обращаться с коровами (коровы были в сельхозе у Кремля и на Муксалме, где находились чудесные выпасы для скота).



Были еще в Кремле «заведения» помельче. Клетушка под большой колокольней, где расстреливали поодиночке (выстрелом в затылок), после чего приезжала телега с ящиком, куда бросали труп (отсюда пошло выражение «сыграть в ящик»), и приходили поломойки — мыть пол от крови. Была хлебопекарня, выпекавшая отличный хлеб по технологии еще XVI века — митрополита Филиппа. Был дровяной двор (он сейчас пустой — там висят два сохранившихся колокола — норвежский и «царский»). Была кипяtilьня около хлебопекарни, где из выходящего в подворотню крана можно было для рот получать кипяток (его забирали в больших медных монастырских кувшинах для кваса).

В каждое помещение посторонним вход был запрещен. Дежурили люди с палками, которые били ими слишком настойчивых посетителей. Я лично общался с людьми из других рот главным образом на работе.

Вход и выход из Кремля разрешен был только через Никольские ворота. Там стояли караулы, проверявшие пропуска в обе стороны. Святые ворота использовались для размещения пожарной команды. Пожарные телеги могли быстро выезжать из Святых ворот наружу и внутрь. Через них же выводили на расстрелы — это был кратчайший путь из 11-й (карцерной) роты до монастырского кладбища, где производились расстрелы.

За пределами Кремля, в здании бывшей монастырской гостиницы, помещались управление СЛОН, женбарак, мехзавод (бывшая кузня), сельхоз, баня № 2 (где принималась санобработка и где просиживали по несколько часов голые заключенные, пока пропаривалась в вошебойке их одежда), алебастровый завод, канатный завод, спортплощадка (для вольнонаемных), обслуживаемая двумя-тремя заключенными, дом и столовая для вольнонаемных (для немногих начальников). Вдалеке находился кирпичзавод (кирпичный завод).

Что же помещалось на остальной части Соловецкого архипелага? Должен сказать, что я знал остальную часть лагеря очень плохо: только в моих пеших командировках для собирания сведений о подростках, которых необходимо было определить в Детколонию, вскоре переименованную в Трудколонию и печально известную в связи с посещением Соловков Максимом Горьким в 1929 г.

Я не могу не сказать особо еще о двух учреждениях, игравших большую роль в умственной жизни на Соловках: Музее и Солтеатре. Все эти учреждения для прикрытия кошмарных условий пребывания на Соловках, но худым словом я их не помяну. Они не только спасли жизнь многим интеллигентным людям, но позволили не прекращать до известной степени жить умственной жизнью.

Я очень опасаясь, что мемуарная литература о 20-х и 30-х гг. создает одностороннее представление о жизни тех лет, а, главное, о жизни в заключении. Вовсе

не все ограничивалось страданиями, унижением, страхом. В ужасных условиях лагерей и тюрем в известной мере сохранялась умственная жизнь. И эта умственная жизнь была даже в некоторых случаях весьма интенсивной, когда вместе оказывались люди, привыкшие и хотевшие думать. Перефразируя известную лагерную поговорку «был бы человек, а статья для него найдется», можно было бы сказать — «был бы думающий человек, а мысли у него будут».

Мой школьный учитель и «одноделец» И. М. Андреевский в журнале «Соловецкие острова» опубликовал статью, посвященную нервным и психическим заболеваниям на Соловках. Он открыл даже особую психическую болезнь, в названии которой сохранил ее соловецкое происхождение (сейчас не помню). Заболевавшие ею люди постоянно стремились улучшить свое положение: занять лучшее место на нарах, захватить «пайку» хлеба чуть больше, чем у других, искать выгодных знакомств и всяческого «блата». Такие люди были напряженно заняты только этим. Они погибали скорее остальных. Но были люди (и их было немало), сохранявшие свое человеческое достоинство, думавшие и осмыслявшие бытие в духовном масштабе.

Соловки были именно тем местом, где человек сталкивался с чудом и с обыденностью, с монастырским прошлым и с лагерным настоящим, с людьми всех уровней нравственности — от высочайшей до самой позорно низкой. Здесь были представители разных национальностей и разных профессий — бывших и настоящих. Сталкивались две эпохи: одна дореволюционная, а другая сугубо современная — типичнейшая для двадцатых и начала тридцатых годов.

Жизнь на Соловках была настолько фантастической, что терялось ощущение ее реальности. Как пелось в одной из соловецких песен: «все смешалось здесь словно страшный сон».

Характерная черта интеллигентной части Соловков на рубеже 1920-х и 1930-х гг. — это стремление перенарядить «преступный и постыдный» мир лагеря в смеховой мир. Если соседи наши по Савватиеву и Муксалме, где содержались «политические», т. е. люди, официально состоявшие в политических партиях, зарегистрированных в каких-то международных организациях защиты политзаключенных, превращали (не без преувеличений) свое содержание на Соловках в мир страданий и мучений, то настоящие каэры (контрреволюционеры) центральной части Соловков всячески подчеркивали абсурдность, идиотизм, глупость, маскарадность и смехотворность всего того, что происходило на Соловках — тупость начальства и его распоряжений, фантастичность и снопоподобность всей жизни на острове (мир страшных сновидений, кошмаров, лишенных смысла и последовательности). Характерны для Соловков странички юмора в журнале



росли низкорослые и искореженные ветрами соловецкие березы, журчали струйки воды, с отливом или приливом проходившие через сложенную из сравнительно небольших камней плотину Митрополичьих садков.

По Реболдовской дороге я ходил безопасно с тоненькой березовой палочкой в руках. Доходил до Глубокой Губы и тут однажды купался. Вода здесь сохраняла холод зимы. Я вошел в нее не страшась, но когда окунулся, дыхание мне перехватило, и я едва выполз. Тут же я обнаружил полустгивший крест с обозначением, что на этом месте высадилась рать Мецеринова во время Соловецкого восстания в конце XVII века. Поперечная доска отвалилась, и в ней торчал кованый гвоздь. Я его взял, и он был у меня до блокады, когда в суете вынужденного отъезда (меня высылали из Ленинграда с семьей ОГПУ) я его забыл взять с собой.

Реболдовская дорога была изумительно красива, и однажды я ее прошел всю до самой Реболды, откуда переправа была на Анзер. Вблизи Реболды начинался «бегущий лес», впоследствии вырубленный. Это были многолетние сосны с толстыми стволами, которые постоянный ветер пригнул к земле, и они поэтому казались «бегущими» и живыми. На что они могли понадобиться? Древесина их была плотной и плохо поддавалась пиле.

Зато какие бревна были в срубе сторожевой избы, где в тепле можно было дожидаться переправы на весельных лодках! Гигантские по длине и толщине прокопченные бревна, создававшие впечатление глубокой старины. Мне казалось, что я нахожусь прямо-таки в XVII веке. Да оно, пожалуй, так и было...

Природа Соловецких островов словно создана между небом и землей. Летом она освещена не столько солнцем, сколько громадным высоким небом, зимой — погружена в низкую крошечную тьму, смягченную белизной снега, изредка прорываемую сполохами Северного сияния, то бледно-зелеными, то кроваво-красными. На Соловках все говорит о призрачности здешнего мира и о близости потустороннего...

Острова — разные по ландшафту. Два Заяцких, Большой и Малый, на которых не растет ни единого дерева, красота которых — в изумительных цветовых сочетаниях лишайников, камней и валунов, кустов и полярных березок и возможности отовсюду видеть море. Здесь нельзя заблудиться. Все кажется диким и пустынным, и только низкие лабиринты напоминают об обычаях, которые создал себе человек. Два острова — Большая и Малая Муксалма — покрыты лесами и болотами, холмами, обрывающимися у моря, и тучными пастбищами, на которых веками паслись коровы. Искусственная дамба соединяет Большую Муксалму и Большой Соловецкий остров. Великолепен Анзер. Природа его пышная и словно даже веселая. Песчаные пляжи и

прекрасные лиственные леса напоминают о юге. Но высокую гору острова венчает Голгофский скит, самим своим названием пророчески предсказавший невыносимые страдания умиравших здесь стариков, калек и безнадежно больных, свезенных сюда со всего лагеря, замерзших здесь, замороженных голodom, заживо погребенных. Центральный остров — Большой Соловецкий — собрал в своем ландшафте все, что имеют другие острова. К тому же триста озер, больших и малых, часто несущих на себе еще новые острова, на которых могли содержаться и особо секретные заключенные, которых лишали возможности видеть других людей, а когда-то — затворялись отшельники.

Здесь — большой природный Рай, но одновременно большой Ад для заключенных всех рангов, сословий, всех населявших Россию народов! Здесь, в этом мире святости и греха, небесного и земного, природа и человек соединились в необыкновенной близости.

Огромные валуны служили основным строительным материалом: из них воздвигнуты башни и стены, вместе с плинфой и кирпичом они легли в основание храмов. Крыши крыты тесом, купола — лемехом. Но иконы и книги, алтарная резьба и кованое железо свидетельствуют об огромных усилиях человека преодолеть природу, поставить дух выше материи, создать из природы гигантский храм. Скиты словно «сужают» расстояние по всему острову. Землянки отшельников и медные кресты, вросшие прямо в стволы деревьев. Об эти кресты и медные иконы ломались зубья двуручных пил заключенных на лесозаготовках.

Триста озер Большого Соловецкого острова, самые большие из которых соединены между собою каналами, чтобы непрестанно пополнять чистой водой большое Святое озеро, по берегу которого поднимаются главные постройки Соловецкого монастыря, поставленные на перешейке между Святым озером и морем. Разница в уровне, как говорили, — 8 метров. Эта разница позволила создать в монастыре водопровод, канализацию, использовать различную технику, построить быстро наполняемые и опорожняемые доки для починки судов, прекрасную хлебопекарню, портомойню, кузницу (исключительную для XVI в.), снабжать водой трапезную и т. д. и т. п. Монастырь мог бы служить наглядным опровержением ложных представлений об отсталости древнерусской техники. Святое озеро — это, по существу, гигантский пруд, искусственно созданный, чтобы заставить жить и работать все жизнеобеспечивающие механизмы монастыря.

Восемь метров перепада уровней моря и озера, образовавшегося от перемычки, заставляли строить стены храмов с широким фундаментом, создавать стены

и храмы как бы тяжело, неизбежно стоящие на земле, чтобы уберечь обитателей монастыря от врагов и непогоды, создать внутри монастыря условия для процветания маленького живописного садика, где всюду были места, удобные для душевного отклика и молитвенных размышлений престарелых монахов.

Соловецкие острова — место, где ощущение творящего Бога и временности человеческого постоянно поддерживается сменами времен года, ритмом суток, длинными ночами зимой и длинными закатами вечером, длинными восходами солнца по утрам, быстрыми сменами погоды, многообразием ландшафтов, ощущением длительности истории этих мест, отмеченных языческими лабиринтами и обетными крестами, храмами и часовнями, где напряженный крестьянский и ремесленный труд был бы так свят и так угоден Богу.

И вместе с тем уже в монастырское время в мирную молитвенную и трудовую жизнь монахов врывались и чисто мирские заботы: столкновение с еретиками, пребывание в нем сосланных, большое старообрядческое восстание, приведшее к длительной осаде в 1668—1678 гг. и сотням погибших, чьи тела валялись непогребенными перед монастырем на льду...

Заканчивались мои прогулки к морю на противоположной стороне от монастыря — недалеко от Переговорного камня. Я знал, что выбирать место для отдыха надо на каком-либо мысу, куда обычно не заезжал «главный хирург» Соловков латыш Дегтярев. Но я не знал, что у него появилась маленькая собачка с необыкновенным чутьем, выдрессированная на человека. Людей она чувствовала на большом расстоянии.

Я выбрал место для отдыха на берегу бухты с противоположной стороны от той, с которой делал свой объезд на белой лошади «начальник войск Соловецкого архипелага» Дегтярев. За камнями меня трудно было увидеть. И вдруг я услышал отвратительный пискливый лай собачонки. Ко мне в объезд бухты скакал Дегтярев — главный расстрельщик Соловков. Я успел натянуть брюки и ринулся в лес, захватив все остальное подмышку. На мое счастье, в лесу была длинная болотистая полоса, видимо, бывшая когда-то руслом реки. Через этот болотный «ров» лежала огромная ель. Я ступил на ствол, и меня прямо перенесло на противоположную сторону. Если бы не страх попасть к Дегтяреву (а от него прямо на Секирку), я никогда не был бы таким «храбрым», чтобы перейти по стволу с одного берега болота на другой. Дегтярев остановился и, нарушив удивительную благостность Соловецкого леса отборной бранью, не стал меня преследовать. Да и не мог он спешиться и бежать за мной. Почему он не стал стрелять — не знаю.





сердился. Только по дрожанию век можно было определить, что он был чем-то раздражен. Он был хороший рассказчик, хороший слушатель. Читал в свое удовольствие книги в «хорошем вкусе» (преимущественно Тургенева, которого доставал в библиотеке, — она помещалась у театра и состояла из конфискованных у заключенных книг или из книг, пожертвованных заключенными библиотеке при освобождении). На работе (в гостинице у пристани на третьем этаже помещался наш Кримкаб<sup>2</sup> — Криминологический кабинет) он умел создавать впечатление у начальства большой и важной деятельности. В нашей рабочей комнате он сидел долго, тем более что это было и удобно, и читал романы, держа карандаш на весу в руке, облокотясь о стол. Внезапно вошедшее лагерное начальство всегда заставляло его в этой «рабочей позе», и нельзя было усомниться в том, что он что-то пишет, т. е. «работает». По воскресеньям мы часто не имели выходных, но Александр Николаевич «уходил по делам» с каким-нибудь официальным поручением и гулял с самодельной березовой палочкой по Филимоновской дороге в сторону Глубокой Губы. Когда я получил от А. И. Мельникова пропуск по всему острову, мы гуляли с ним вместе, и прогулки эти были для меня очень полезны. Он обладал и жизненным опытом, и начитанностью в русской классической литературе, и способностями рассказчика. Когда Александра Николаевича отравили в Кемь осенью 1929 г. (зимой у него подходил срок), мои прогулки продолжались с не менее интересным человеком — тоже юристом Владимиром Юльяновичем Короленко, племянником писателя.

В чемодане у Александра Николаевича был превосходно сшитый синий шевиотовый костюм и рубашка с отложным воротничком и галстук. Когда надо было идти докладывать начальству или когда в Кримкабе ожидался приход машинистки Ширинской-Шихматовой, Александр Николаевич надевал свой костюм и выглядел великолепно — барином. Он как-то особенно складывал губы при появлении Ширинской-Шихматовой и всячески тонировал. С работавшей у нас в Кримкабе Юлией Николаевной Данзас (она не была ему прямо подчинена, занимаясь вырезанием из газет нужных начальству сообщений — каких? я никогда не интересовался) Александр Николаевич был менее галантен, хотя был не прочь и тут, как мы говорили, «распустить хвост», но не производил на нее впечатления.

<sup>2</sup> Мне исключительно посчастливилось, что благодаря усилиям отца Николая Пискановского и владыки Виктора Островидова я стал работать в Криминологическом кабинете. Николай Павлович Андиферов пишет в своих воспоминаниях «Из дум о былом» (М., 1992): «Я мечтал работать в Криминологическом кабинете, где собирали рисунки, письма, стихи заключенных уголовников. Так, думалось мне, я лучше пойму психологию людей „Мертвого дома“» (с. 346). Н. П. Андиферов не пишет, что не только в понимании преступников было дело. Хотелось ему работать в Криминологическом кабинете потому, что там работали его друзья — А. А. Мейер, К. А. Половцева, А. П. Сухов и др.







Человеком XIX века, но совсем другого рода, представлялся мне и профессор климатолог Алексей Григорьевич Сатин. С ним разговоры были чаще всего при встречах на соловецких дорогах. Он ходил в округности Кремля, записывая какие-то метеорологические данные на приборах. Должны ли были Соловецкие острова передавать метеорологические данные на материк — не знаю. Своими рассуждениями он очень напоминал мне Базарова. Грубый материалист и, как все материалисты, пессимист, иронически ко всему относившийся, презиравший удобства жизни. Ходил он в кавказской бурке и папахе. Когда начался второй тиф осенью 1929 г. и все боялись подхватить вшей, он спокойно говорил: «Своя вша не пустит чужую: лучший способ не заразиться тифом — иметь вшей». И имел.

Был он добр. Когда ко мне должны были приехать родители на свидание, он уступил нам свою клетушку на Сортоиспытательной станции. Жил он вдвоем с морским офицером Ажаевым. Тот протестовал, не хотел переселяться в холодный сарай. Но Сатин просто его прогнал и сам перешел мерзнуть в сарай. А тут еще беда случилась: от времянки загорелись высушенные травы. Я успел погасить, что было духу сбегав за огнетушителем в соседний дом. Если бы не потушил, — была бы мне верная Секирка<sup>3</sup>. Сатин же составил акт, что сгоревшая часть коллекции сухих трав не представляла собой никакой ценности. И еще одна деталь: он превосходно играл в шахматы и про него шутили: «первый шахматист и последний нигилист».

Так опроверглись мои представления, что человек со взглядами материалиста непременно должен быть пессимистом и эгоистом. Всегда есть исключения.

### Диагональ детского одеяла

В 1928 г., как я уже, кажется, писал, люди знали, что такое тюрьма, этап, лагерь, и знали, как снарядить высылаемых, — что дать им в дорогу. Надо было, чтобы поклажа была легкой и чтобы там было самое необходимое. Знали, например, и такую деталь: лежать придется на жестком, а при этом больнее всего тазу. Поэтому шили маленькие матрасики, набивая их волосом, — как самым легким и не сваливающимся в употреблении. Мне дали такой матрасик — не больше подушки, а укрываться — легчайшее детское пуховое одеяло, почти ничего не весившее, но укрыть которым я мог только либо ноги, либо плечи. Я накрывался им от угла к углу: уголок на ноги и уголок на плечи. Но клал на себя еще что-либо из одежды: зимой — полушубок. Закрывался с головой, чтобы уйти в свой мир воспоминаний о доме, об университете, о Петербурге. Особенно я любил вспоминать Петербург в сумерки — вид с Дворцового моста на Дворцовую площадь,

<sup>3</sup> Секирка — самый страшный карцер, помещавшийся на Секирной горе. Редко кто выходил из него живым.



когда на каком-то переломе от вечернего полусвета к ночной полутьме внезапно вспыхивала гирлянда желтых фонарей и появлялась грандиозная полуокружность Генерального штаба.

Особенно хорошо помню 3-ю роту. К моему топчану из экономии места плотно придвинут стол, за которым сидят мои сокамерники. Над столом мерцает лампочка. Вот-вот погаснет: срок ее мерцания до 10 часов, затем — предупредительное гашение лампочки на несколько секунд, и надо все успеть сделать, чтобы лечь при свете. Лампочка тускло бьется в тяжелом облаке махорочного дыма. Говорили: махорочный дым не так вреден, как табачный. Приходится этим утешаться, ибо открыть форточку — это впустить холод. Тепло, впрочем, бывает очень редко — либо жара от огромной монашеской печи, которая медленно остывает несколько дней, либо стужа в ожидании очередного разрешения на топку.

Лежать под детским одеялом — это ощущать дом, домашних, заботы родителей и детскую молитву на ночь: «Господи, помилуй маму, папу, дедушку, бабушку, Мишу, няню... И всех помилуй и сохрани». Под подушкой, которую я неизменно крещу на ночь, — маленький серебряный складень. Через месяц его нашел и отобрал у меня командир роты: «Не положено». Слово, до тошноты знакомое в лагерной жизни!

### **Приезд Максима Горького и массовые расстрелы 1929 г.**

Весной 1929 г. к нам на Соловки приехал Горький. Пробыл он у нас дня три (точнее, я не помню — все это легко установить по его собранию сочинений).

От соловецких беглецов (бежали из отделений Солагеря на материке и пешком в Финляндию, и на кораблях, возивших лес) на Западе распространились слухи о чрезвычайной жестокости на наших лесозаготовках.

Миссия Горького заключалась, по-видимому, в том, чтобы переломить общественное мнение Запада. Дело в том, что Конгресс США и парламент Великобритании приняли решение не покупать лес у Советского Союза: там через бежавших (Мальсагов и др.) стали известны все ужасы лагерных лесозаготовок. Экспорт леса в массовых масштабах был организован Френкелем, заявившим: «Мы должны взять от заключенных все в первые три месяца!» Можно представить, что творилось на лесозаготовках!

Горький должен был успокоить общественное мнение. И успокоил. Покупки леса возобновились... Кто потом говорил, что своим враньем он хотел вымолить облегчение участи заключенных, а кто — вымолить приезд к себе Будберг-Закревской, побоявшейся вернуться вместе с ним в Россию. Не знаю — какая из версий правильна. Может быть, обе. Ждали Горького с нетерпением.

Наконец, с радиостанции поползли слухи: Горький едет на Соловки. Тут уж стали готовиться не только начальники, но и те заключенные, у которых были какие-то связи с Горьким, да и просто те, кто надеялся разжалобить Горького и получить освобождение.

В один «прекрасный» день подошел к пристани «Бухты Благополучия» пароход «Глеб Бокий» с Горьким на борту. Из окон Крымкаба виден был пригорок, на котором долго стоял Горький с какой-то очень странной особой, которая была в кожаной куртке, кожаных галифе, заправленных в высокие сапоги, и в кожаной кепке.

Это оказалась сноха Горького (жена его сына Максима). Одетая она была, очевидно (по ее мнению), как заправская «чекистка». Наряд был обдуман! На Горьком была кепка, задранная назад по пролетарской моде того времени (в подражание Ленину). За Горьким приехала монастырская коляска с Бог знает откуда добытой лошастью. Это меня поразило. Место, где он ждал коляску, я смог бы и сейчас указать точно...

Мы все очень обрадовались — все заключенные. «Горький-то все увидит, все узнает. Он опытный, его не обманешь. И про лесозаготовки, и про пытки на пеньках, и про Секирку, и про голод, болезни, трехъярусные нары, про голых и про «несудимых сроках»... Про все-все!» Мы стали ждать. Уже за день или два до приезда Горького по обе стороны прохода в Трудколонию воткнули для декорации срубленные в лесу елки. Из Кремля каждую ночь в соловецкие леса уходили этапы, чтобы разгрузить Кремль и нары. Персоналу в лазарете выдали чистые халаты.

Ездил Горький по острову со своей «кожаной спутницей» немного. В первый, кажется, день пришел в лазарет. По обе стороны входа и лестницы, ведущей на второй этаж, был выстроен «персонал» в чистых халатах. Горький не поднялся наверх. Сказал «не люблю парадов» и повернулся к выходу. Был он и в Трудколонию. Зашел в последний барак направо перед зданием школы. Теперь (80-е гг.) это крыльцо снесено и дверь забита. Я стоял в толпе перед баракком, поскольку у меня был пропуск и к Трудколонию я имел прямое отношение. После того, как Горький зашел, через десять или пятнадцать минут, из барака вышел начальник Трудколонию, бывший командарм Иннокентий Серафимович Кожевников со своим помощником Шипчинским. Затем вышла часть колонистов. Горький по его требованию остался один на один с мальчиком лет четырнадцати, вызвавшимся рассказать Горькому «всю правду» — про все пытки, которым подвергались заключенные на физических работах. С мальчиком Горький оставался не менее сорока минут (у меня уже были тогда карманные серебряные



корточки! Садись, говорю, друг на друга, такие-сякие!!!» Образовалась плотная масса человеческих тел, дрожавших от холода. Затем он велел матросам принести брезент и паруса (на «Бокон» были еще мачты). Всех накрыли. Горький простоял до конца погрузки на палубе, балагурия и фамильярничая с лагерным начальством. Прошло порядочно времени. Только когда «Бокон» отплыл на достаточное расстояние, брезенты сняли. Что под этими брезентами было — вообразите сами. Вскоре после отъезда Горького начались беспорядочные аресты среди заключенных. Оба карцера — на Секирке и в Кремле — были забиты людьми.

Слышал я и следующий рассказ. Еще до приезда Горького в Соловецкий лагерь на отделении в Кеми появлялась комиссия из Европы Томсона, договорившаяся в Москве, что они будут ходить свободно по лагерю, куда им будет угодно, и свободно разговаривать с заключенными. Члены комиссии жили в Кеми в квартире кого-то из начальников лагеря, который якобы уехал в отпуск. Они собрали большой материал на материке, фотографировали, записывали. Однако одному опытному карманнику было дано задание — украсть весь материал. Он мобилизовал сподручных, они устроили давку вокруг комиссии, срезали фотоаппарат и украли документы, записные книжки из карманов (ясно — с помощью подручных). За это лагерное начальство расплатилось с ним несколькими килограммами муки и другой натурой («цена чести в нашей державе»). Комиссия уехала ни с чем. Но была ли она на самом острове — не знаю.

В том же 1929 г. поздним летом над Соловками разразилось и другое несчастье. Впрочем, могло ли произойти что-то «новое» в том фантастическом кошмаре, в который были погружены Соловки?

Однажды утром в Кабинет явился подросток-колонист и вручил А. Н. Колосову большой сверток: свернутую в трубку ватманскую бумагу. Развернув его, Колосов побледнел и долго сидел в задумчивости. Наконец, он попросил сходить вниз Управления, где размещалась с монастырских времен типография, и пригласить к себе заведующего типографией Молчанова. Молчанов пришел. Помню, что первое время оба, Молчанов и Колосов, тихо говорили между собой, читая и разглядывая большой лист ватманской бумаги. Затем к совещанию пригласили всех сотрудников. Лист ватманской бумаги оказался манифестом о вступлении на всероссийский престол Иннокентия I Серафимовича Кожевникова. Обещалась амнистия всем заключенным, предлагалось захватить соловецкие суда, захватить Кемь и двигаться на Петроград.

Что делать? Если это «шутка», то она угрожала жизнью всем, кто прочел этот «манифест», — включая мальчишку. Решили, впрочем, сбегать к Кожевникову и узнать — в чем дело. Пошедший вернулся с опрокинутым лицом. Кожевников



моего освобождения, идя с работы как-то пешком по Большому проспекту Петроградской стороны, по которому в те времена ходил трамвай, я изумился: на полном ходу из трамвая выскочил Дегтярев, подбежал ко мне (с площадки заметил) и сказал, что работает лесничим в каком-то заповеднике в Средней Азии. С приветственным возгласом «Привет вам с (какого-то) Алатау!» он бросился за следующим трамваем и исчез. Значит, жив! И я был рад, как только мог.

О Кожевникове рассказывали, будто он остался жив. Его якобы видели в Москве, не то входящим, не то выходящим из Кремля. Сказались, как говорили, прежние революционные заслуги, заслуги в Гражданской войне, связи<sup>4</sup>, однако Шипчинского расстреляли и многих с ним. Испуганное начальство решило прибегнуть к острастке. Начались новые аресты. Пеклось какое-то дело о попытке восстания, но потом и дела не стали стряпать.

Расстрелянных списывали как умерших от тифа. Возможно, что расстрелы по обоим делам и суммировались в общей цифре 300—400 человек. Во всяком случае, раз был А. Н. Колосов — значит, это было ранее его отъезда — поздней осенью 1929 г. Тяжесть человеческих утрат меня давила. Особенно жалко мне было тщедушного Шипчинского — всегда веселого и несгибаемого.

Начальник КВЧ (Культурно-воспитательной части), в которой работал Шипчинский (Трудколония подчинялась КВЧ), перед советским праздником спросил Шипчинского: «Придумай мне лозунг, из которого ясно было бы, что у нас на Соловках делается все для социально близких — рабочих и крестьян». Шипчинский<sup>5</sup> выпалил: «Соловки — рабочим и крестьянам». Начальник (все тот же Д. В. Успенский) ответил: «Во здорово!» — и приказал писать плакат. Я передаю, конечно, только смысл разговора, о котором рассказывал Шипчинский. Возможно, стрелял в затылок Шипчинского именно Успенский.

А у Шипчинского перед расстрелом возник какой-то роман с молоденькой хромой балериной (ногу ей перебили на следствии). Им удавалось как-то видеться. После трагической гибели Шипчинского мне особенно было жалко их обоих.

Осенью 1931 г. один мальчик, работавший в канцелярии ИСЧ (Информационно-следственной части Управления), спросил меня — хочу ли я

<sup>4</sup> После моего рассказа по телевидению о деле Кожевникова я получил письмо из Набережных Челнов от Сафин Мансура, где он писал мне: «Вы говорили о командаре (партизанской армии) Иннокентии Кожевникове, воевавшем в гражданскую войну на нашем Прикамье, а в составе его армии было несколько тысяч челнинцев, т.е. моих земляков. В музее истории города и края у нас есть экспозиция, посвященная храброму командиру Иннокентию Кожевникову, но, к сожалению, абсолютно нет материалов, посвященных его дальнейшей жизни (после гражданской войны), и ни слова о пребывании его в Соловках...»

<sup>5</sup> В отрывке моих «Воспоминаний», напечатанных в другом месте, я называю ошибочно Казарновского как автора этого «лозунга».





Поздно осенью 1929 г. ко мне еще раз приехали на свидание (разрешалось два свидания в год) родители. Мы жили в комнате какого-то вольнонаемного охранника (были охранники и из заключенных), с которым родители познакомились на «Глебе Боком» и договорились с ним о его комнате за какую-то плату. Комната его была в гостинице (бывшая «Петроградская»), что на горушке сзади УСЛОНа. Там помещалась и фотография для вольнонаемных, где меня трижды в разное время снимали с родителями, по разрешению Мельникова, и лечпункт с главным лекпомом Григорием Григорьевичем Тайбалиным. Тайбалин, кстати, писал стихи (поэму о его пребывании на Соловках) и взял к себе работать не говорившего по-русски старика — «лучшего певца Старой Бухары». Из окон нашей комнаты, обращенной в сторону Сельхоза, мы видели, как изнеженные восточные люди в шелковых халатах и шелковых сапогах на высоких каблуках что-то делали. Вскоре все эти «басмачи», как их именovalo начальство, вымерли, не выдержав ни холода, ни работы... Но память о них осталась: зимой 1929—1930 гг., как я уже писал, на острове начался страшный азиатский тиф. Я жил у родителей, аресты шли. Под конец их пребывания ко мне пришли вечером из роты и сказали: «За тобой приходили!» Все было ясно: меня приходили арестовывать. Я сказал родителям, что меня вызывают на срочную работу, и ушел: первая мысль была — пусть арестовывают не при родителях! Я пошел к Александру Ивановичу Мельникову, в комнату, где он жил над 6-й ротой у Филипповской церкви. Стучусь, он не открывает. Но уйти он не мог. Я стучусь все громче. Наконец, Мельников мне отворяет. Он одет. За столом сидит молодая женщина — я ее знал, она была схвачена по делу о фальшивых деньгах. Значит, не отворял потому, что свидание!

Увидев меня, Мельников успокоился.

Успокоился и сделал мне строгое внушение. Смысл этого внушения состоял в следующем: «Если за вами пришли, — нечего подводить других. За вами могут следить». Дверь передо мной захлопнулась. Я понял, что поступил плохо. Ведь и он мог быть подведен под расстрел. Помимо расстрелов по ложным обвинениям в жестокостях, расстреливали и мнимых «повстанцев», а также просто «строптивых» заключенных. В основном расстрелы шли 28 октября 1929 г. за Кремлем на кладбище. Однако массовые расстрелы были и в другие дни под Секиркою, на Анзере, в Савватиеве. Расстрелянных без постановлений списывали как умерших от болезней.

Сквозь события этой ночи вспомнилась мне и еще одна деталь. Летом 1929 г. до расстрелов приезжала к Мельникову его жена Ольга Дмитриевна — знакомая моей матери. Оба пригласили меня на чай. Я видел: оба расстроены. Наконец, жена спросила меня, и Мельников подтвердил вопрос: изменяет ли он

(Мельников) семье? Вопрос был для меня неожидан. Я совершенно ничего не знал. Решил, что вопрос этот — шутка, и решил ответить шуткой: «Да, надо бы пожаловаться...» и пр. После Мельников сделал мне краткий выговор: «Если не знаете — и говорите, что не знаете». И все-таки глупость моего ответа, мне кажется, успокоила жену Мельникова: если бы что-то было, я бы не стал шутить, а врал бы серьезно. Все это мелькало в моем мозгу: ведь какого страха натерпелись оба, Мельников и его любовница, когда я к ним безумно стучался.

Выйдя на двор, я решил не возвращаться к родителям, пошел на дровяной двор и запихнулся между поленищами. Дрова были длинные — для монастырских печей. Я сидел там, пока не повалила толпа на работу, и тогда вылез, никого не удивив. Что я натерпелся там, слыша выстрелы расстрелов и глядя на звезды неба (больше ничего я не видел всю ночь)!

С этой страшной ночи во мне произошел переворот. Не скажу, что все наступило сразу. Переворот совершился в течение ближайших суток и укреплялся все больше. Ночь — была только толчком.

Я понял следующее: каждый день — подарок Бога. Мне нужно жить насыщенным днем, быть довольным тем, что я живу еще лишний день. И быть благодарным за каждый день. Поэтому не надо бояться ничего на свете. И еще — так как расстрел и в этот раз производился для острастки, то, как я потом узнал: было расстреляно какое-то ровное число, не то триста, не то четыреста человек, вместе с последовавшим вскоре. Ясно, что вместо меня был «взят» кто-то другой. И жить надо мне за двоих. Чтобы перед тем, которого взяли за меня, не было стыдно! Что-то было во мне и оставалось в дальнейшем, что упорно не нравилось «начальству». Сперва я валил все на свою студенческую фуражку, но я продолжал ее упорно носить до Белбаллага. Не «свой», «классово чуждый» — это ясно.

К родителям я уже в тот день вернулся спокойный. Не знаю: снялся ли я с родителями до той ночи или позже. На одном снимке я сфотографирован с родителями и моим младшим братом, но брата в тот приезд осенью 1929 г. не было. Значит, я там, где нас трое, а не четверо. Четверо — это на первой фотографии — весной 1929 г.

Вскоре поступило распоряжение прекратить свидания заключенных с родными. Мои родители уехали за несколько дней до конца срока свидания. Уехала и жена Г. М. Осоргина. Он вернулся в карцер, а я в 3-ю роту.

28 октября 1929 г. по лагерю объявили: все должны быть по своим ротам с какого-то (не помню) часа вечера. На работе никто не должен оставаться. Мы поняли. В молчании мы сидели в своей камере в 3-й роте. Раскрыли форточку. Вдруг завyla собака Блек на спортстанции, которая была как раз против окна 3-й роты.

Это выводили первую партию на расстрел через Пожарные ворота. Блек выл, провозжая каждую партию. Говорят, в конвое были случаи истерик. Расстреливали два франтоватых (франтоватых по-лагерному) с материка и наш начальник Культурно-воспитательной части Дм. Вл. Успенский. Про Успенского говорили, что его загнали работать на Соловки, чтобы скрыть от глаз людей: он якобы убил своего отца (по одним сведениям дьякона, по другим — священника). Срока он не получил никакого. Он отговорился тем, что «убил классового врага». Ему и предложили «помочь» при расстрелах. Ведь расстрелять надо было 300 или 400 человек.

С одной из партий получилась «заминка» в Святых (Пожарных) воротах. Высокий и сильный одноногий профессор баллистики Покровский (как говорят, читавший лекции в Оксфорде) стал бить деревянной ногой конвоиров. Его повалили и пристрелили прямо в Пожарных воротах. Остальные шли безмолвно, как замороженные. Расстреливали против Женбарака. Там слышали, понимали, — начались истерики. Могилы были вырыты за день до расстрела. Расстреливали пьяные палачи. Одна пуля — один человек. Многих закопали живыми, слабо присыпав землей. Утром земля над ямой еще шевелилась...

Мы в камере считали число партий, отправляемых на расстрел, — по вою Блека и по вспыхивавшей стрельбе из наганов.

Утром мы пошли на работу. К этому времени наш Кримкаб был уже переведен в другое помещение — комнату налево от входа рядом с уборной. Кто-то видел там перед умывальником Успенского, смывавшего кровь с голенищ сапог. Говорят, у него была приличная жена...

У Осоргина тоже была жена. Я ее помню, — брюнетка, выше его ростом. Мы встретились у Сторожевой башни, Георгий Михайлович меня представил. Какую надо было иметь выдержку, чтобы не сказать жене о своей обреченности, о готовящемся...

А Блек убежал в лес. Он не пожелал жить с людьми! Его искали. Особенно искали Успенский и начальник войск Соловецкого архипелага латыш Дегтярев по прозвищу «главный хирург» (он обычно расстреливал одиночек под колокольней). Однажды я видел его бегающим в длинной шинели в толпе заключенных с «монтекрисом», стреляющим в собак. Раненые собаки с визгом разбегались. Полы длинной «чекистской шинели» хлопали по голенищам... После той ночи с воем Блека Дегтярев возненавидел собак. А за камень, пущенный в чайку, заключенного чуть ли не расстреливали.

Уже после расстрела на поверках заключенным читали приказ о расстреле «за жестокое» обращение с заключенными (какое лицемерие!). Были в приказе разные люди — и те, что действительно были жестоки, и те, на которых были



В. Никольского «Иконографическое собрание Соловецкого монастыря». Из нее ясно: в алтаре Благовещенского собора (начат в 1596 г., окончен в 1601 г.) было более 500 икон. Среди них чудотворные — Сосновская и Славянская. Перед последней молился митрополит Филипп, когда был игуменом монастыря. На иконе была надпись: «Моление игумена Филиппа» (7 1/2 на 91/2 вершков с басненным окладом). Приписывалась монахами эта икона самому Рублеву. На левой руке Богоматери Младенец. Одной рукой Он касается щеки, другой старается обнять (тип Владимирской?). Где эта икона сейчас — не знаю. Врата в Благовещенской церкви были выполнены в 1633 г. по вкладу келаря Троице-Сергиевой лавры Александра Булатникова, и резал их «мастер лавры Лев Иванов». Это чудо искусства было уничтожено летом 1932 г. по требованию комиссии, приехавшей на Соловки из Москвы и расправлявшейся со всеми остатками «монашеского дурмана».

Печатались труды музея — сперва типографским способом в бывшей монастырской типографии, помещавшейся в первом этаже УСЛОНа на пристани, а потом — каким-то множительным аппаратом. Эти последние издания я пытался искать по ленинградским библиотекам в последние годы, но не нашел.

Примерно с 1927 г. заведующим Музеем стал заключенный Николай Николаевич Виноградов. Он имел уголовную статью (67 УК), говорят — за присвоение из костромских музеев каких-то ценных экспонатов. Одним словом, он не был «политическим», и поэтому к нему было особое снисходительное отношение начальства. В те годы еще не «прикрывали» политических заключенных уголовными статьями, скорее наоборот — за уголовным делом стремились видеть политическую диверсию. Сперва Н. Н. Виноградов был заместителем заведующего, а потом — сразу по своем освобождении — вольнонаемным заведующим музеем. Это было в 1929 г. весной, и тогда он съездил в Ленинград позаниматься в Архиве Синода делами дяди Пушкина Павла Исаковича Ганнибала — бывшего заключенного Соловков после Декабристского восстания. Этими материалами уже занимался в свое время Б. Л. Модзалевский. Н. Н. Виноградову удалось установить кое-что дополнительно, и он, с большим подъемом, сделал в Музее доклад о Павле Исаковиче. На докладе этом присутствовал и я, получив плитку шоколада «Тип-Топ», которую он привез для меня из Ленинграда от родителей.

Но дело не в плитке шоколада. Дело в том, что Н. Н. Виноградов, каким бы темным ни было его прошлое (а оно было отнюдь не благополучным в моральном отношении), делал очень много для оказавшейся на Соловках интеллигенции, в том числе и для молодых художников и поэтов, которых было в лагере немало.



У Н. Н. Виноградова был простецкий вид и умение быть «своим» среди лагерного начальства. В каком-то отношении он умел быть циником, говорить то, что нравилось начальству, бранился матом, а это, как известно, до сих пор очень ценится в этой среде. Я очень хорошо помню его на постановке замياتинской «Блохи» по лесковскому рассказу «Левша». Постановка была замечательной, и она шла под навязчивый частушечный напев «Николай, давай покурим». Музыка сочинил «мейеровец» Вальгардт. Я был недалеко от Николая Николаевича, когда он подошел к одному из начальников лагеря, которого тоже звали Николаем, предложил ему папироску и негромко спел «Николай, давай покурим». Меня поразило, как ловко на моих глазах он благодаря этому приему перешел со своим начальником на «ты».

Ему ничего не стоило изобразить из себя циничного антирелигиозника и вместе с тем сохранить многое из церковных ценностей в Благовещенской церкви, назвав ее «антирелигиозным отделом музея». Он явно был неверующим, хотя в своей Костромской области был некоторое время сельским священником. В музее у него работал лектором А. Б. Иванов, имевший среди заключенных самую дурную репутацию. Иванов был карликового роста, и его звали «антирелигиозной бациллой» или еще — «кусочком сволочи»<sup>6</sup>.

Когда Николая Николаевича заставляли отдавать для шкатулочной мастерской на Анзере иконы, он стремился отделяться только самыми малоценными, для чего он создал даже особый их запас.

Однажды Виноградов подошел ко мне, когда я вечером сидел в Музее, чтобы не ходить в роту (выхлопотал мне это разрешение Виноградов через моего знакомого делопроизводителя Адмчасти А. И. Мельникова). Я составлял опись наиболее ценных икон в алтаре. Николай Николаевич сунул мне акт о вскрытии мощей Зосимы и Савватия, молча указав пальцем на одну важную деталь: в одной из рак при вскрытии был «обнаружен» окурок папиросы советского времени. Эта деталь ясно свидетельствовала, что до официального вскрытия в раку лазил кто-то, кто при этом курил советскую папироску. Этим Николай Николаевич явно хотел показать цену «вскрытия».

Юлия Николаевна Данзас в своих воспоминаниях, написанных во Франции, чрезвычайно резко отзывалась о Музее, называя его «антирелигиозным», а также о самом Н. Н. Виноградове и о его сотрудниках, заявляя при этом, что она решительно отказалась водить антирелигиозные экскурсии. Вряд ли

---

<sup>6</sup> До своего ареста благодаря своему маленькому росту А. Иванов был служкой новгородского митрополита, затем — антирелигиозным деятелем. В каких-то своих статьях он «оклеветал» Новгородскую партийную организацию. Был посажен за кражи в особо больших размерах церковных ценностей. Его «труды» полны выдумками — главным образом в антирелигиозных целях. Верить им никак нельзя.

Н. Н. Виноградов заставлял ее водить такие экскурсии: для этого у него был сподручный негодяй — А. Б. Иванов. Напротив, Н. Н. Виноградов всячески спасал интеллигенцию и никого ни к чему не принуждал. Спас он от «общих» (физических) работ и саму Юлию Николаевну, прежде чем она перешла потом на работу в Криминологический кабинет. Кстати, когда освободили заведующего Криминологическим кабинетом А. Н. Колосова (и само существование кабинета было под сомнением), Н. Н. Виноградов «торговал» меня у начальника КВЧ (Культурно-воспитательной части) за несколько церковных риз, которые готов был дать в обмен за меня для театра. Так я оказался предметом настоящей работоторговли. К счастью для меня, кабинет не закрыли. Но об этом в дальнейшем.

Еще до моего приезда на Соловки Виноградов устроил работать в музее известного художника Осипа Эммануиловича Бразы<sup>7</sup>, добыв ему бумагу и акварельные краски и получив на него разрешение свободно писать акварели за пределами Кремля якобы «для увековечения замечательного достижения перевоспитания». О. Э. Браз нарисовал несколько десятков прекрасных пейзажей, выставленных затем на хорошо освещенных хорах Благовещенской церкви. Впоследствии мне говорили, что акварели эти находились в Казанском соборе — «Музее религии и атеизма Академии наук СССР». Куда они делись затем — не знаю.

Когда на Соловки прибыло два студента украинских художественных училищ — один из Киева, а другой из Чернигова — Петраши и Вовк, Н. Н. Виноградов и их снабдил акварелью и бумагой. Н. Н. Виноградов разбирался в людях и знал, кому следует помогать.

В Музее у Н. Н. Виноградова работало несколько спасаемых им лиц: князь Вонлярлярский, который был настолько стар, что ничего уже не мог делать, и ему грозило уничтожение где-нибудь на анзерской Голгофе, хлопотливая «Аленушка» — Елена Александровна Аносова; потом искусствовед и реставратор Александр Иванович Анисимов, из молодежи — бывший бойскаут Дмитрий Шипчинский, о котором Юлия Николаевна Данзас пишет в воспоминаниях, что он был похож на «типичного комсомольца», хотя он всегда был непримирим к советской власти, а через год пошел в лес «в бега» на верную гибель вслед за сошедшим с ума своим старшим другом И. С. Кожевниковым, как уже упоминалось, был пойман и расстрелян. В музей Н. Н. Виноградов пытался устроить работать М. Д. Приселкова, поручив мне вызволить его из карантина, и устраивал многих других. Каждый вечер, перед сном, с ротных нар и топчанов, где царствовала полутьма едва мерцавших лампочек, он приглашал интеллигентных

<sup>7</sup> Кстати, Бразу принадлежит, бесспорно, лучший из портретов Чехова, сделанный с натуры.

людей, чтобы слушать доклады, работать над музейными картотеками, просто беседовать, и они на час или другой чувствовали себя в своей среде.

Это он, Николай Николаевич, заботился о сохранении соловецких лабиринтов, тщетно воевал с начальством за сохранение моленных крестов на берегах Острова, да и делал многое другое.

Здесь, в музее, В. С. Свешников-Кемецкий читал свои стихи и волновавшую нас «Сагу об Эрике — сыне Яльмара» — своем легендарном предке по матери, который придет за ним в час смерти и унесет его «в высокую Валгаллу под бряцанье арф и лязг мечей».

Сам Николай Николаевич старался не присутствовать на многих устраиваемых им вечерних собраниях: то ли для того, чтобы не отвечать за них и за все, на них сказанное, то ли, чтобы не стеснять свободы нашего общения, ибо знал собственную дурную репутацию из-за своих связей с лагерным начальством.

Когда летом 1932 г. музей был razорен комиссией из Москвы и остатки его отправлены в Москву и Ленинград по разным запасникам, Николай Николаевич уехал в Петрозаводск, увезя с собой свою незаконно и законно собранную коллекцию древних соловецких рукописей, разысканных им на острове после всех вывозов рукописей в Казань и Петроград в Археографическую комиссию. Где эта коллекция сейчас? Как-то в середине тридцатых годов, когда я работал «ученым корректором» в издательстве Академии наук и ходил обедать в Дом ученых, я встретил там приехавшего из Петрозаводска Николая Николаевича. Он, как всегда, был внешне бодр и крепок, рекомендовал мне поехать летом отдыхать в Кижы к Рябининым, где отдыхал и сам. Но вот пришло известие, что он арестован и расстрелян, а о коллекции его я и до сих пор не могу найти никаких сведений. А был он человек «понимающий» в искусстве, в древностях, хотя и очень загадочный во многих других отношениях.

Архивные сведения о нем собирает в его родном городе Костроме Л. И. Сизинцева. Не перебегая дорогу ее научным интересам, скажу только, что жизнь Николая Николаевича была бурной, главным образом благодаря переживавшей его душу страсти коллекционера. Он не останавливался ни перед чем. Знаток этнографии, старых вещей, фольклора, древней литературы, он был очень большой. Ему принадлежит книга «Повесть о Париже и Вене», изданная по рекомендации А. А. Шахматова, две книги-брошюры о Соловецких лабиринтах, выпущенные на Соловках, множество статей и публикаций, в частности интересная статья в журнале «Соловецкие острова» о художественной ковке на Соловках. Его серьезно ценил до революции А. А. Шахматов в Петербурге, куда он переехал в десятых годах (потом, впрочем, вернулся в Кострому). Он

служил секретарем в журнале «Живая Старина», сотрудничал в журнале «Русское Слово», был членом Императорского Географического общества.

Есть какие-то глупые намеки на его связи с царской охранкой, но нет никаких определенных сведений, что кто-нибудь пострадал от этих связей. Может быть, и в те времена существовало у него сочетание личной нечистоплотности с желанием помогать, избавлять... Возможно ли такое сочетание? Если оно возможно, — Николай Николаевич был именно таким. Во всяком случае, сделанное им добро не следует сбрасывать со счетов.

Николаю Николаевичу я был представлен, и именно он дал мне поручение — составить опись икон. Вечерами я сидел в алтаре церкви Благовещения на Святых (тогда уже «Пожарных») воротах и рисовал экспозицию «на глаз». Иконы обозначал условно прямоугольниками, ставил на прямоугольниках номера, затем отдельно под номерами обозначал название иконы и примерно (как указывал мне А. И. Колосов и другие) век иконы. Многие иконы, которые теперь изданы или хранятся в Музее в Коломенском, мне знакомы, например, большая византийская икона (мы ее обозначили, как «итало-критскую», — по Н. П. Лихачеву), которую называли «Нерушимая скала» (Божья Матерь сидит на троне). Был там и «Нерукотворный Спас» Симона Ушакова и др. Все это я рисовал и писал на бумаге из школьных тетрадей. Если бы она нашлась! Это важно для истории Соловков.

Издавал Николай Николаевич на гектографе не то материалы, не то «Записки» СОК (Соловецкого общества краеведения). Узнав, что я писал у Д. И. Абрамовича дипломную работу о повестях о патриархе Никоне, он упрасивал меня выписать ее из Ленинграда от родителей и дать для его предполагаемых новых изданий СОК. Но диплом куда-то пропал вместе с другим дипломом — о Шекспире в России в конце XVIII — начале XIX в. (который я писал у С. К. Боянуса, но не успел защитить).

Работа вечерами в Музее, общение с А. Н. Колосовым, Н. Н. Виноградовым, А. И. Анисимовым дали мне чрезвычайно много для понимания древнерусского искусства. Как и работа в качестве чернорабочего у псковского археолога и реставратора Назимова (мы занимались обмерами сушила).

У меня хранится акварель молодого художника Петраша из Чернигова (там, как и в Киеве, была арестована большая группа молодежи за принадлежность к двум организациям — Союз украинской молодежи — СМУ и Союз вызволения Украины — СВУ). На акварели (ее подарил мне уже в Ленинграде Э. К. Розенберг) изображен простенок между зданием музея и крепостной стеной (вид, кажется, из окна комнаты Н. Н. Виноградова).

Поскольку я коснулся вопроса о судьбе крупнейшего нашего специалиста по древнерусскому искусству — А. И. Анисимова, приведу полностью мое письмо о нем в газету «Советская культура», опубликованное под заголовком: «И документы могут ошибаться» (по поводу заметки «По приговору Тройки», подписанной Е. Кончиным в рубрике «Продолжение темы» в номере «Советской культуры» от 14 апреля 1990 г.)

Газета «Советская культура» второй раз возвращается к теме о судьбе замечательного искусствоведа и реставратора икон А. И. Анисимова, последние работы которого собрал и недавно издал Г. И. Вздорнов.

В документе, который сообщен Комитетом государственной безопасности Карельской АССР и который цитируется в статье, сказано, что для отбытия десятилетнего срока заключения по приговору Коллегии ОГПУ («Тройки») А. И. Анисимов «прибыл в Беломорско (так!)-Балтийский исправительно-трудовой лагерь 16 апреля 1931 г.». Это не так. Я сидел с ним несколько месяцев в одной камере в седьмой роте, где сейчас расположены запасники Соловецкого историко-архитектурного и природного Музея. На Соловки он прибыл не ранее мая 1931 г. (в мае только открывалась навигация). Его тотчас же выручил с «общих (физических) работ» и устроил у себя заведующий Музеем Соловецкого общества краеведения Николай Николаевич Виноградов.

В Соловецком музее того времени оставалось много исключительно ценных икон большого размера, которых не смогла вывезти экспедиция будущего академика Б. Д. Грекова в начале 20-х годов, спасшая много рукописей и икон первой категории.

В Соловецком музее на хорошо освещенных хорах надвратной Благовещенской церкви А. И. Анисимов реставрировал большого размера великолепную икону символического содержания. Когда мог, я приходил к нему на хоры и следил за его кропотливой работой. В камере А. И. Анисимов был аккуратен, медлителен, сам себе готовил на ротной плите какие-то кашки. И при этом он был исключительно деятелен — тип поведения совершенно для меня до того неизвестный. Два или три раза летом 1931 г. Николай Николаевич получал для него пропуск за пределы Кремля, и он приносил из своих длительных прогулок ягоды и зелень, которую знал он один. Он много рассказывал и при этом как бы «назначал» свои доклады. Один доклад был о реставрации им иконы Владимирской Божьей Матери, при этом он читал поэму Максимилиана Волошина о Владимирской Божьей Матери. Подробно он рассказывал и о своем «деле», по которому был арестован. Он не скрывал своего возмущения продажами и вывозами из страны произведений искусства. И вот что он утверждал: если страна не ценит своих сокровищ, пусть они уходят из этой страны, но они

должны быть проданы в крупные музеи или известным коллекционерам и ни в коем случае не «депаспортизироваться». Происхождение икон не должно быть скрыто. Нельзя распродавать в разные руки цельные собрания икон: деисусные чины и т.д. Цены на иконы были столь дешевы, что богатые люди покупали иконы для модных одно время шахматных досок, в которых черными клетками являлись остатки древней живописи. Поэтому А. И. Анисимов, имея дело с иностранными покупателями, заботился о дальнейшей судьбе продаваемых икон, рекомендовал иконы в «хорошие руки». Эти общения его с иностранцами и послужили поводом для обвинения в «шпионаже» (в пользу Швейцарии, кстати).

В 1931 г. начался массовый вывоз с Соловков «рабочей силы» на подготовляемый к строительству Беломоро-Балтийский канал. Жизнь на Соловках становилась невыносимой. Меня долго не выпускали. Вывезли меня с последним рейсом парохода «Глеб Бокий» в конце октября — начале ноября. А. И. Анисимов остался на Соловках. Я не терял с ним связи. Весной 1932 г. на Соловки приехала «комиссия» — какая, не знаю. Эта комиссия, зайдя в музей, пришла в ярость: «пропаганда религии». Икону, которую А. И. Анисимов ценил особенно, считая ее первой в ряду символических икон конца XV в., на его глазах разбили. А. И. Анисимов заболел сердцем. Музей закрыли. Н. Н. Виноградов стал жить в Петрозаводске, увезя с собой свое личное собрание, мелкие предметы и рукописи из Соловецкого музея. Остатки музея в разбитом состоянии были частично переданы Историческому музею в Москве (знаменитая соловецкая сень выставлена сейчас в музее села Коломенского, ценнейший семиконечный крест с острова Кий с тремястами мощами передан Церкви). Оставался еще замечательный иконостас Преображенского собора. Он был уничтожен по приказу начальника школы юнг значительно позднее<sup>8</sup>. Возвращаясь к судьбе А. И. Анисимова, скажу только, что осенью 1932 г. он работал уже на трассе Беломоро-Балтийского канала. Вдова Максимилиана Волошина Мария Степановна говорила мне, что после смерти Волошина А. И. Анисимов и несколько других заключенных нашли в лесу старообрядческую часовню и отслужили там по «Максу» заупокойную службу, о чем так мечтал сам поэт. Умер Волошин, как известно, 11 августа 1932 г. Значит, к этому времени А. И. Анисимов успел освоиться в Белбаллаге настолько, что снова, как и на Соловках, добился разрешения на выход в лес. Дальнейшая судьба А. И. Анисимова мне неизвестна. Неизвестна она была и Н. Н. Виноградову. Может быть, документ о его расстреле 2 сентября 1937 г., приводимый в «Советской культуре» Е. Кончиным, и не обманывает нас...

<sup>8</sup> Мне рассказывали, что по его же распоряжению была уничтожена (сожжена) замечательная библиотека, собранная из книг, присылавшихся заключенным. Впрочем, вина лежала, очевидно, на высшем начальстве.



Добавлю к этой заметке и еще один разговор, ходивший на Соловках об А. И. Анисимове: говорили, что на каком-то собрании в Москве он не почтил память В. И. Ленина и остался сидеть, когда все встали. Очень похоже на него...

### Солтеатр

Было на Соловках и другое «чекистское чудо»: Соловецкий театр (Солтеатр), созданный для «туфты» — изображать культурно-воспитательную работу, но ставший немаловажной реальностью соловецкой интеллектуальной жизни. Наряду с «живгазетой», концертными номерами самого низкого пошиба там шла и интересная творческая работа.

В годы моего пребывания на Соловках душой Солтеатра, как и журнала «Соловки», был Борис Глубоковский — актер Камерного театра Таирова, сын известного в свое время богослова и историка церкви Николая Никаноровича Глубоковского, переписка которого с В. В. Розановым не так давно опубликована.

Бориса Николаевича Глубоковского я хорошо знал, но не как близкого знакомого, а как чрезвычайно видную и много сделавшую для лагерной интеллигенции личность. Его, по существу, знали все. Жаль, что не сохранилось его фотографии. Это был высокого роста человек, стройный, красивый, живой, с хорошими манерами. Одет он был по соловецкой моде немногих людей, которым был доступен Помоф (пошивочная мастерская, одевавшая жен немногих вольнонаемных и наиболее бластных из заключенных): черное полупальто с кушаком, черные галифе, высокие сапоги, кепка чуть набекрень.

Он был разносторонне одарен. Ему приписывалось участие в богемном окружении Есенина. Обвинялся за участие в каком-то заговоре «Белого центра». Обвиняться он, конечно, мог, но вряд ли бы он стал рисковать участвовать по свойствам своей несколько эгоистической натуры.

Солтеатр был главным «показушным» предприятием на Соловках. Театром хвастались перед различными комиссиями, перед приезжавшим из Москвы начальством, перед Горьким, побывавшим на Соловках весной 1929 г.

Вот некоторые постановки в Солтеатре: «Дети Ванюшина», «Блоха» Е. Замятина, «Маскарад» М. Лермонтова. Полный репертуар Солтеатра можно восстановить по журналу «Соловецкие острова» и газете «Новые Соловки», а также по маленькой газетке «Соловецкий листок», издававшейся тогда, когда Управление СЛОИ в 1930 г. переехало в Кемь, а вместе с Управлением перебрался туда же и Глубоковский.

Он написал много статей и одну книгу — «49», изданную Соловецким обществом краеведения году в 1926-м или 1927-м — об уголовниках, попавших в лагерь по статье 49 уголовного кодекса о «социально опасных».

Чрезвычайной популярностью пользовалась на Соловках его постановка «Соловецкое обозрение». Постановка остро иронизировала над соловецкими порядками, бытом и даже начальством. Однажды, когда одна из «разгрузочных комиссий» в подпитии смотрела в театре «Соловецкое обозрение», в переполненном заключенными зале, Б. Глубоковский (тоже, очевидно, хлебнувший), который вел представление, выкрикнул со сцены: «Пойте так, чтобы этим сволочам (и он указал рукой на комиссию) тошно было». А обозрение состояло не только из комических номеров, но и тоскливо-лирических, заставлявших многих плакать. Стихи писал сам Глубоковский (что мог, я записал), а мотивы он подбирал главным образом из оперетт. Но все ж таки один мотив сочинил, говорят, сам: к его песне «Огоньки», которую в начале 30-х гг. пела вся Россия. Заканчивалась эта песнь следующими словами:

*От морозных метелей и вьюг  
Мы, как чайки, умчимся на юг,  
И мелькнут вдалеке огоньки —  
Соловки, Соловки, Соловки!*

Припев был такой:

*Обещали подарков нам куль  
Бокий, Фельдман, Васильев и Вуль.  
Но в Москву увозил Катанян  
Лишь унылый напев соловчан:  
Всех, кто наградил нас Соловками,  
Просим, приезжайте сюда сами.  
Посидите здесь годочков три иль пять —  
Будете с восторгом вспоминать.*

Среди куплетов был и такой, обрисовывавший представления о будущем заключенных:

*И когда-нибудь вьюжной зимой  
Мы сберемся веселой толпой,  
И начнут вспоминать старики  
Соловки, Соловки, Соловки!*

Наивные мечты заключенных двадцатых годов...

В Солтеатре были и другие постановки. Я помню «Маскарад» М. Лермонтова. Арбенина играл Калугин — артист Александринского театра в Петрограде. Дублировал Калугина Иван Яковлевич Комиссаров — король всех урок Соловецкого архипелага. В прошлом бандит, ходивший «на дело»

во главе банды с собственным пулеметом, грабивший подпольные валютные биржи, ученик и сподвижник знаменитого Леньки Пантелеева. А Арбенин у него был настоящим барином...

Что еще шло в Солтеатре, не помню. Были и киносеансы. Помню фильм по сценарию Виктора Шкловского, где двигались какие-то броневики через Троицкий мост в Петрограде. Ветер нес бумаги, мусор. Были и какие-то концерты, на которых актеры из урок ловко отбивали чечетку, показывали акробатические номера (особенным успехом пользовалась пара — Савченко и Энгельфельд). Оркестром дирижировал Вальгардт — близорукий дирижер из немцев, впоследствии дирижировавший оркестром в Одессе и еще где-то (сидел он по делу кружка А. А. Мейера). Была актриса, истерическим голосом читавшая «Двенадцать» Блока. Была хорошенькая певица Перевезенцева, певшая романсы на слова Есенина (помню — «Никогда я не был на Босфоре...») и нещадно изменявшая мужу, работавшему в Кремле и пытавшемуся из ревности покончить с собой в одной из рот. В фойе театра читались лекции по истории музыки профессором-армянином из Тифлиса В. Анановым, по психологии А. П. Суховым и еще кем-то и о чем-то.

У меня сохранилась афиша Вечера памяти Н. А. Некрасова в Солтеатре в четверг 12 января 1929 г. Я на нем не был: лежал больной тифом. Открывал вечер докладом Б. М. Лобач-Жученко. Это была заметная личность в лагерной жизни, но я его, к сожалению, совсем не помню. Ощущение чего-то большого и значительного, которое у меня возникает при упоминании его фамилии, может быть, вызвано самой его фамилией — длинной и какой-то важной<sup>9</sup>. Затем следовали доклады Б. Глубоковского, П. И. Иогалевича, П. С. Калинина, Я. Я. Некрасова (Некрасова я встречал на Беломоро-балтийском строительстве, но там был другом — один из глав Временного правительства, масон). После антракта следовал концерт, в котором принимали участие чтецы (была и хоровая декламация, — модная в те времена), духовой оркестр, симфонический квинтет, соловецкий хор. Самое интересное, что исполнялись отдельные части оперы «Кобзарь», сочиненной заключенным Кенель. Как и все представления в Солтеатре, начало было поздно — в 9 часов, так как официальный конец работы в лагере был в 8 часов вечера. Программка открывается неплохим портретом Н. А. Некрасова — гравюрой по линолеуму заключенного И. Недрита.

И все это в разгар тифозной эпидемии и истязаний на общих работах! Воистину «Остров чудес».

<sup>9</sup> О Б. М. Лобач-Жученко (сыне, как считалось, Марко Вовчок) см. воспоминания его сына — Б. Б. Лобач-Жученко: «На перекрестках судьбы» // Радуга. 1990. № 1. С. 109–126.

«Все смешалось здесь без цвета и лица» (из соловецкой песни Глубоковского на мотив из «Жрицы огня»).

Б. Н. Глубоковский по освобождении из Белбалтлага получил удостоверение (как и многие из нас) с красной диагональной полосой. По этому удостоверению его прописали в Москве и приняли назад в Камерный театр. Как я узнал из объявления в газете, умер он в середине 30-х гг. Говорили — от заражения крови. Он стал морфинистом и кололся прямо через брюки...

Зимой 1929–1930 гг., когда свирепствовал «второй тиф», так называемый «азиатский», люди заболевали тысячами, театр был закрыт и зрительный зал обращен в лазарет, где больные лежали вповалку, почти без помощи. Но на сцене за спущенным занавесом читались лекции, хотя из зала доносились стоны и крики.

Много лекций по музыке прочел уже упомянутый мной Ананов — бывший сотрудник Театра имени Руставели в Тифлисе и газеты «Заря Востока». Прочел и я что-то о дошекспировском театре (упросили, хотя я и понимал всю нелепость такой лекции в таких условиях, но для КВЧ (Культурно-воспитательной части) моя лекция была нужна «для галочки»).

Весной, когда тиф прекратился и из оркестровой ямы стали доставать сваленные туда скамьи и стулья, нашли труп умершего. Он был до того худ, что высох и не очень пропах. Больные расплзались в бреду. Под аккомпанемент стонов была еще чья-то лекция о театре масок. А привезенный прямо из поездки за границу корреспондент Гарри Бромберг в широчайших модных тогда брюках — «оксфордах» — и коротеньком пиджаке делился там своими заграничными впечатлениями. Самое место!

Мне кажется, что Солтеатр с его занавесом, отделявшим смерть и страдания тифозных больных от попыток сохранить хоть какую-то иллюзию интеллектуальной жизни теми, кто завтра и сам мог оказаться за занавесом, — почти символ нашей лагерной жизни (да и не только лагерной — всей жизни в сталинское время).

Вокруг и внутри театра шли обычные для театров интриги. Образовывались какие-то группки, сторонники тех или иных актеров и постановщиков. Помню, что в еженедельной газете «Соловецкий листок», ставшей выходить после перевода «Новых Соловков» на материк, я поместил в 1930-м или 1931 г. какую-то похвальную рецензию на одну из постановок Солтеатра. Немедленно на следующей неделе появился ответ мне «Рецензия по блату», хотя, ей-ей, я писал, как стремлюсь всегда, искренне.

Жизнь на Соловках в 1929–1931 гг., возможно, покажется читателю «театром абсурда»: богатство интеллектуального общения в условиях лагеря со всеми его атрибутами — чекистами, камерами, карцерами.

Прежде всего, следует упомянуть мужской карцер на Секирной горе («Секирка»), женский карцер на Большом Заяцком острове («Зайчики»), Голгофу на о. Анзере для безнадежно больных и глубоко старых людей (главным образом священников и нищих, собранных с папертей московских церквей).

Существовали лесоразработки, торфоразработки, обширные лагеря в Савватиеве, Исакове, Филимонове, Муксалме.

Существовали безымянные лагеря в лесу. В одном из них я был и заболел от ужаса увиденного. Людей пригоняли в лес (обычно в лесу были болота и валуны) и заставляли рыть траншею (хорошо, если были лопаты). Две стороны этих траншей, чуть повыше, служили для сна, вроде нар, центральный проход был глубже и обычно весной заполнялся талой водой. Чтобы лечь в такой траншее спать, надо было переступить через уже лежавших. Крышей служили поваленные елки и еловые ветки. Когда я попал в такую траншею, чтобы спасти из нее детей, в ней «шел дождь»: снег наверху уже таял (был март или апрель 1930 г.), сливался и на земляные лежбища, и в центральную канаву, которая должна была служить проходом.

Я уже не говорю о «комариках» (наказание, применявшееся летом), о том, как не пускали на ночь и в эти траншеи, если не выполнялся «урок», как работали, какой выполняли «ударный» план. После одного такого посещения лесного лагеря у меня открылись сильнейшие язвенные боли, которые вскоре прошли, так как появилось язвенное кровотечение, перенесенное мною «на ногах».

В этих-то лесах главным образом и погибали заключенные. В 30-м г. осенью умерли тысячи «басмачей» — изнеженных восточных мужчин в халатах и шелковых башмаках. Умерли интеллигенты, которых мы, жившие в Кремле, не успели перехватить из 13-й и 14-й рот...

Итак, описав кое-как «богатство» соловецкой топографии, перехожу к рассказу о своих «путешествиях» по этому миру, в которых встречи с людьми — главное.

## ЛЮДИ СОЛОВКОВ

### Александр Александрович Мейер

Весной 1929 г. на Соловках появились Александр Александрович Мейер и Ксения Анатолиевна Половцева. У А. А. Мейера был десятилетний срок — самый высокий по тем временам, но которым «милостиво» заменили ему приговор к расстрелу, учтя его «революционное прошлое» (тогда это еще учитывалось). В каком месяце они оба появились, я уже не помню. Он — в тринадцатой карантинной роте, а она — в Женбараке. Не помню — кто из нас тогда выручал А. А. Мейера из карантина. Занимались «выручкой» в Кримкабе мы двое: я и Володя Раздольский, как самые молодые. У обоих были пропуска в карантин,

чтобы собирать подростков и устраивать их в Трудколонию. Мы ходили к вновь прибывшим с этапами и старались вызволить оттуда не только подростков, но и всех «стоящих людей». Сделать это было не просто, и удача не так часто нас сопровождала. Надо было узнать — кто прибыл и получить для них требования на какую-либо легкую работу в пределах Кремля, где условия были значительно лучше. Тех, кого выручал я, — помню. Среди прочих я получил от Николая Николаевича Виноградова направление на работу в Музей для Михаила Дмитриевича Приселкова. Но, к моему удивлению, М. Д. Приселков отказался работать в Музее: «Я попал за занятия историей и больше ею заниматься не буду». Тогда я получил требование на него от владыки Виктора Островидова, работавшего в Сельхозе бухгалтером. М. Д. Приселков стал счетоводом. А. А. Мейера выручал, очевидно, Володя Раздольский, и требование на него дал Александр Николаевич Колосов — прямо в Криминологический кабинет. Кто-то определил Ксению Анатolieвну Половцеву в какое-то учреждение в том же здании Управления СЛОН на пристани, где размещался и Кримкаб. Это дало возможность К. А. Половцевой ежедневно навещать к А. А. Мейеру и приносить ему обед в каких-то маленьких кастрюльках, а также принимать участие в удивительных обсуждениях различных философских проблем, — обсуждениях, которые сразу же начались с появлением А. А. Мейера. Это был необыкновенный человек. Он не уставал мыслить в любых условиях, стремился все осмыслить философски и по возможности писать — то в царских ссылках и тюрьмах, то во всех новых «несвободах», куда бросало его время «Великой Октябрьской». Но прежде всего рассказу о том, кто такой был для всех нас А. А. Мейер.

С А. А. Мейером я работал в Криминологическом кабинете на Соловках в помещении УСЛОНа на пристани против Кремля больше года. Это помещение бывшей гостиницы монастыря. Кабинет помещался на третьем этаже в большой комнате. Если войти в здание со стороны острова, то надо подняться на третий этаж и пойти налево. Здесь находилась перед туалетом большая комната в три окна, выходящих на площадь перед УСЛОНом. А. А. Мейер занимал столик около левого окна. Жил он сперва в 3-й, потом в 7-й роте.

О жизни А. А. Мейера до Соловков привожу справку из примечаний к воспоминаниям Н. П. Анциферова, опубликованным за рубежом.

«Мейер Александр Александрович (1874—1939) — философ. Родился в Одессе в семье преподавателя древних языков в гимназиях. В 1895—1896 гг. учился в Новороссийском у-те (Одесса). В 1896-м арестован за участие в рев. движении и сослан в Шенкурск. Там много занимался самообразованием, переводил книги по философии, социологии, логике, психологии. Женится на сосланной одесской учительнице П. В. Тыченко (1872—1942). В 1902-м вместе



с женой вернулся в Одессу, пытался продолжать учебу в у-те, но был выслан из города. Перед 1905-м жил в Баку, где был арестован за организацию рабочих кружков и сослан в Ташкент. Там в 1905-м сотрудничал в газ. «Русский Туркестан», продолжал рев. деятельность. В 1906-м арестован, но вскоре бежал из ташкентской тюрьмы, некоторое время жил в Финляндии, а с начала 1907-го — в СПб. В конце 1900-х читал разнообразные курсы по философии, эстетике, истории религий, психологии и др. в Об-ве народных университетов, Народном университете Н. В. Дмитриевой, на Высших женских курсах им. П. Ф. Лесгафта и в др. местах. В 1909—1928 гг. работал в отделе Rossica Публичной библиотеки. После 1917-го преподавал в Ин-те живого слова и в институте им. П. Ф. Лесгафта. В декабре 1928-го был арестован по «делу кружка «Воскресение» («дело Мейера»)», в 1929-м приговорен к расстрелу, замененному десятью годами Соловков. В СЛОН работал в Криминологическом кабинете. В 1930-м вновь арестован (арестант еще раз был арестован! — Д. Л.), привезен в Ленинград и привлечен к «делу Академии Наук». В 1931—34 гг. работал (также в качестве заключенного.— Д. Л.) техником-гидрологом на Беломоро-Балтийском канале (где встречался с А. Ф. Лосевым). В 1935—37 гг. — на канале Москва — Волга. Умер в ленинградской больнице от рака печени. Похоронен на Волковом кладбище. Философские и политические взгляды М. претерпели большую эволюцию. В молодости революционер-марксист, в 1907 г. он стал одним из теоретиков т. н. «мистического анархизма», опубликовал 2 статьи в сб. «Факелы» (СПб., 1907). В 1909-м появляется первая книга М. «Религия и культура». Одновременно он становится видным участником С.-Петербургского Религиозно-философского о-ва, сближается с Мережковскими, которые считают его «совсем своим». В 1909—17 гг. много ездит по стране с лекциями, публикует не менее 50 рецензий, статей, брошюр. Для его размышлений военного времени характерна работа «Во что верит Германия» (Пгр., 1916), посвященная критике протестантизма. В последнем М. выделяет три, по его мнению, порочные черты: отрицание христианского понимания личности, отрицание Церкви как хранительницы предания, выдвижение принципа национальной и религиозной самосветности взамен идеи Вселенской Церкви. Этим тенденциям М. противопоставляет не православие (как, напр., Вл. Эрих), а некий грядущий синтез коллективизма (социалистической идеи) и христианства. В 1917-м М. — один из составителей проекта РФО об отделении Церкви от государства, принимает участие в работе Поместного Собора (избран от РФО). Он выпускает несколько работ, в которых выступает за поддержку Временному правительству, за созыв Учредительного собрания, против пораженчества большевиков.

Его тревогу за судьбу страны и революции зафиксировал А. А. Блок, записавший кратко доклад М. в РФО 21. 5. 1917 (Блок А. «Записные книжки. 1901—1920». М., 1965. С. 340—341). После Октября позиция М. по отношению к большевикам не была такой непримиримой, как у Мережковских. Он пытается найти положительное зерно в большевистской теории, в течение нескольких послереволюционных лет верит в возможность эволюции власти».

В своих воспоминаниях «Д. С. Мережковский» Зинаида Гиппиус трижды говорит об А. А. Мейере, начиная с 1912 г., как о друге их семьи, одном из организаторов Религиозно-философского общества и человеке вообще «очень интересном». Сам А. А. Мейер говорил о Мережковских очень мало. Находясь на Соловках в 1929 г., он был уверен, что они продолжают жить в Варшаве, и не очень одобрительно к этому относился.

Для меня А. А. Мейер казался стариком, хотя было ему всего 55 лет. Худой, изможденный, очень нервный, подвижный, как бы преодолевающий внутреннюю усталость. Высокие сапоги, которые были ему явно велики (с «запасом» на теплые портянки), темная толстовка, длинное лицо, жидкая борода и длинные волосы (пока его, как и всех нас, не остригли) и очень живые глаза. Таким запомнился он мне на всю жизнь.

В нашем трехконном «Кримкабе» ему дали, как я уже писал, лучшее место за столом у левого окна. У крайнего окна напротив помещался длинный стол Юлии Николаевны Данзас. Жить его поместили на втором этаже в «моей» третьей роте, которой в то время командовал барон Притвиц. Вскоре и в этой третьей роте неугомонный А. А. Мейер, привыкший постоянно выступать с лекциями и докладами перед самой различной аудиторией, прочел лекцию на какую-то сложную философскую тему. Лекция его была в широком ротном коридоре. После лекции комроты барон Притвиц элегантно расшаркался и поблагодарил Александра Александровича за «чудесную лекцию», в которой явно ничего не понял, как, впрочем, и большинство «слушателей».

Слава А. А. Мейера была велика в Петрограде. Мы знали, что вместе с Д. С. Мережковским, З. Н. Гиппиус, Н. А. Бердяевым и А. А. Блоком он был активным членом С.-Петербургского Религиозно-философского общества. С первыми двумя он был дружен и во многом единомысленен. Был он участником Всероссийского собора, избравшего патриарха Тихона в 1918 г. Вместе с А. Блоком, Андреем Белым и другими он был членом-учредителем Вольной Философской ассоциации (Вольфилы) в Ленинграде, а затем главой самого престижного в Петрограде-Ленинграде частного кружка интеллигенции, называвшей себя «вторничанами» потому, что заседания кружка происходили по вторникам.

Впоследствии эти заседания были перенесены на воскресные дни, и кружок получил название «Воскресенье» (впрочем, следовательно, известный организатор «академических дел» Стромин заявил на основании этого названия, что цель кружка была в «воскресении старой России»; здесь Стромин<sup>10</sup> перепутал значения слов «воскресение» и «воскрешение»).

Еще до ареста я много слышал о кружке А. А. Мейера от И. М. Андреевского. Собирались мейеровцы на Малом проспекте Петроградской стороны около Спасской в деревянном доме (сейчас его уже нет) и в других местах. Вход к Мейеру был свободный. Постоянными участниками кружка были вначале (до своего отъезда) Мережковские, Ксения Анатолиевна Половцева, литературовед Л. В. Пумпянский, художник П. Ф. Смотрицкий, востоковед Н. В. Пигулевская и ее муж, Л. Орбели (будущий академик), пианистка М. В. Юдина, художник Л. А. Бруни, педагог И. М. Андреевский, Г. П. Федотов (пока не уехал из России) и многие другие. Кстати, многие из идей Г. П. Федотова родились именно в кружке Мейера. Наш Хельфернак посещался мейеровцами, и наоборот. Поэтому многие из возникавших в Хельфернаке дискуссий были продолжением споров в «Воскресении». Доступ на заседания «Воскресения» был открыт, входные двери в часы заседаний не запирались, но по молодости лет я стеснялся туда ходить, так как меня смущал церемониал, принятый у Мейера. Заседания начинались общей молитвой, и после докладов (обычно коротких) полагалось высказываться по кругу всем — хотя бы коротко (согласен — не согласен). Заседания «Воскресения» подробно описаны Н. П. Андиферовым: «Три главы из Воспоминаний», а также в биографии Г. П. Федотова, предваряющей I том его сочинений (Париж, УМКА-Press).

Для меня разговоры с А. А. Мейером в Кримкабе и со всей окружающей его соловецкой интеллигенцией были вторым (но первым по значению) университетом.

Общение с людьми старше меня (а по существу все заключенные из интеллигенции были старше) оказалось для меня чрезвычайно полезным. Я не «проходил» с ними курсы, но знакомился с их жизненным опытом и получал разнообразнейшие сведения из разных областей науки, философии, литературы и поэзии. В Кримкаб приходил Владимир Юльянович Короленко (племянник Владимира Галактионовича Короленко), целовал дамам ручки — В. Грузовой и Ю. Н. Данзас. Приходил Георгий Михайлович Осоргин<sup>11</sup> (но редко), приходил Михаил Иванович Хачатуров, в разговор включался Александр Петрович

<sup>10</sup> Стромин был эстонец и поэтому, может быть, не «ощущал» русского языка

<sup>11</sup> Кстати, — сын того самого Мишанчика, который часто упоминается в «Записках кирасир» Трубецкого, напечатанных в ж. «Наше наследие».

Сухов, Иван Михайлович Андреевский, скульптор Амосов и наша кримкабовская молодежь: В. С. Раздольский, А. А. Пешковский, Ю. Казарновский, А. Панкратов, Л. М. Могилянская. Если бы можно было все записать, — какие великолепные беседы, дискуссии, просто споры, рассказы, рассуждения были бы сохранены для русской культуры. Была ли это своеобразная «Башня» Вячеслава Иванова?

Пожалуй, лучше, так как и длилось все дольше, и велись наши разговоры ежедневно под благословенным покровительством нашего начальника Александра Николаевича Колосова, державшего карандаш у уха и готового в любой момент прикрыть от начальства наше «безделие», а вместе с тем и заставить всех нас делать благое дело спасения детей — «вшивок», шпаны, «занюханых», «социально близких» и бесконечно несчастных «колониистов» (подростков, живших в Детской колонии, потом переименованной в Трудколонию)<sup>12</sup>.

Многое вспомнилось мне из разговоров с А. А. Мейером после того, как я получил из Парижа его книгу «Философские сочинения» (Париж, 1982). Последние материалы этой книги связаны с его размышлениями на Соловках. А. А. Мейер был человек русской разговорной культуры. Он принадлежал к тем, чьи взгляды формировались в бесконечных русских разговорах. В Кримкабе у него были сильные собеседники (Данзас, Гордон, Сухов, Андреевский, Смотрицкий и др.), но не было ему равных. Важно, однако, что была молодежь, которую он мог учить, читать своего рода лекции. И все ж таки в устной его речи многое было лучше, интереснее и глубже, чем на письме. Говорил он смелее, чем писал. Для того, чтобы хорошо писать, нужна смелость.

Удивительное было свойство А. А. Мейера: на все решительно в общественной жизни откликаться философскими размышлениями. Он был интересен всем, потому что интересовался всеми. Очень много читал лекций и докладов в самой разнообразной обстановке. Как участник революционного движения при царе, он постоянно жил в ссылке, и вокруг него всегда появлялись какие-нибудь самостоятельные кружки. Он читал лекции и в рабочих университетах, и на Высших Вольных курсах Лесгафта. Постоянно занимался изучением языков. Свободно читал на греческом и латинском; немецкий был для него родным, домашним языком (его дед был выходцем из немецкой части Швейцарии). Читал он сложнейшие философские сочинения фактически на всех европейских языках. Впоследствии в ссылке в 30-х гг. он делал, по словам его дочери, для А. Ф. Лосева переводы с греческого и латинского философских сочинений.

<sup>12</sup> Противостояние уголовных «казрам» (контрреволюционерам) уже «воспитывалось», но не давало еще ощутимых результатов в конце 20-х гг.

Его исключительная образованность позволила ему быть одним из самых современных философов, работы которого о слове, аллегории, мифе кажутся написанными сегодня. Во всяком случае, его «Философские сочинения», вышедшие в Париже в 1982 г., производят впечатление написанных как бы со знанием работ Леви-Стросса, К. Юнга, Б. Малиновского и А. Ф. Лосева, вышедших позднее, — настолько они предвосхитили их идеи.

Его первая книга «Религия и культура», в которой он заявил о себе как о «мистическом анархисте», увидела свет в 1909 г., но затем он все более приближался к православному восприятию мира, и это сблизило его с Г. П. Федотовым, одним из активнейших членов мейеровского кружка.

На Соловках начаты были А. А. Мейером две работы: «Три истока» и «Фауст» (Размышления при чтении «Фауста» Гете), посвященные проблемам культуры — мифу и слову.

Написал он и небольшую заметку «Принудительный труд как метод перевоспитания» (ж. «Соловецкие острова». 1929. № 3–4), вызвавшую раздражение у его содельцев, находившихся в лагере на материке. Было объявлено, что А. А. Мейер «изменил принципу свободы». Успел он, кажется, написать и работу о ритме в труде (отражение его опыта преподавания философии движения на Высших Вольных курсах Лесгафта).

«Фауста» А. А. Мейер перечитывал по имевшемуся на Соловках переводу Холодовского, но многое из его текста помнил наизусть по-немецки: это было его любимое произведение. Все свои идеи он обсуждал с молодым философом примерно моего возраста из Ростова-на-Дону — Владимиром Сергеевичем Раздольским, с которым мы жили в одной камере и увлеченность которого философскими размышлениями меня всегда поражала. Был у нас под рукой и «живой книжный шкаф» — так мы звали Гаврилу Осиповича Гордона, о необыкновенной памяти которого я еще расскажу.

Одной из самых важных тем наших разговоров была тема «мифа» и другая связанная с ней — «слова». Обе эти темы отражены в упомянутой книге А. А. Мейера «Философские сочинения».

Могу сказать, что размышления А. А. Мейера помогли мне в дальнейшем формировании моего мировоззрения.

Что означает первая же фраза Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово»? И почему Фауст, приводя эти первые слова, заменяет «Слово» «Делом» («... im Anfang war die Tat!»). Мои собственные размышления на этот счет явились как бы продолжением тех, которые вызывали во мне чтения книги Н. О. Лосского «Мир как органическое целое». С помощью Лосского, а на Соловках — Мейера,

я пришел для себя к мысли, что «Общее» всегда предшествует «Частному», «Идея» («Слово») предваряет всякое ее воплощение. Отсюда я пришел к вере в первоначальность Разума и Слова. И отсюда же пришел к мысли, с которой через шестьдесят лет в 1989 г. выступил в Гамбургском Национальном обществе относительно необходимости положить в основу экологии как науки идею предшествования целого части. Экология как наука, с моей точки зрения, должна прежде всего изучать всю взаимосвязанность решительно всего в мире. Мир как целое и мир как Слово, как идея. Эта задача грандиозна, но она достойна нашего времени. Только на основе данных цельности мира можно решиться на его «исправление» или на внесение в мир тех или иных коррективов. Мир как Слово! Слово Logos — Логос как нечто, предшествующее всякому Бытию. Ответственность человека за разрушение сложившихся в мире взаимосвязей — материальных и духовных! Отсюда же и взгляд, к которому я пришел уже в дни блокады Ленинграда, о цельности и взаимосвязанности (в высокой мере стилистической) культуры: мысль, положенная мною впоследствии в основу моей концепции Предвозрождения на Руси и книги «Поэзия садов», где стили в садово-парковом искусстве отождествляются мною со стилями культуры (Готика, Ренессанс, Барокко, Рококо, Классицизм, Романтизм, Реализм и пр.).

В пределах сходных идей развивались и мои литературоведческие взгляды, понимание действительности и понимание человеческой культуры. Восприятие мира формируется всю жизнь, и характер его отчетливо сказывается как в научной методологии, так и в «научном поведении» (последнее — особое понятие, требующее особого же разъяснения).

Если Слово является началом дела, обобщением, то в ложном слове, словештампаме заключена величайшая опасность, которой постоянно пользуется дьявол.

Мефистофель говорит:

*«Дай людям лишь слова — не станут верить,  
Какая мысль в них может заключаться».*

(Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört,  
Es müsse sich dabei doch auch was denken lassen.)

Одной из тем разговоров с А. А. Мейером, которую я могу вспомнить, был миф, создаваемый в наше время. Тему эту А. А. Мейер поднял в своей лекции «О праве на миф»<sup>13</sup> еще в 1918 году. Естественно, что спустя 11 лет тема разрослась необычайно. Искать мифы и исследовать их на наших «заседаниях» было необычайно интересно. Я, кстати, тогда же, имея в виду и учение А. А. Мейера о слове, написал шуточную «Феноменологию вопроса».

<sup>13</sup> Мейер А. А. Философские сочинения. Париж, 1982. С. 96–100.



Применив к слову «вопрос» все основные идиоматические сочетания, в которые входит «вопрос», я получил своеобразную «жизнь» этого «вопроса»: «Вопрос зарождается, выявляется, привлекает внимание, ставится, встает во весь рост, возбуждает другой вопрос, затрагивает и порождает другие вопросы, затем решение его откладывается, затягивается, вопрос вылезает боком, пересматривается, от вопроса уходят, вопрос замалчивают, он отмирает, снимается, вопрос “исперчен”». Я подбирал идиоматические выражения довольно долго и набрал их, помнится, до двух десятков. Здесь я даю лишь обрывки, чтобы продемонстрировать замысел. Последнее выражение «вопрос исперчен» вместо «исчерпан» очень часто употреблялось в двадцатых годах в виде шуточного выражения. Вокруг этой «феноменологии вопроса» было, как кажется, много разговоров в Кримкабе, так как «жизнь вопроса» в какой-то мере отражала бюрократическую действительность того времени: каждое настоящее дело превращалось в «вопрос» и в конце концов разрешалось бессмысленной и пошловатой пустотой: вопрос оказывался «исперчен».

Сейчас я уже всего не помню, но шуточные построения феноменологии различных понятий, абсурдность, к которой они приводили, обыгрывались и были «в ходу» в наших беседах. Когда у нас оставалось время от обязательной работы, то в Криминологическом кабинете делались небольшие сообщения, именовавшиеся докладами.

Уже в двадцатые годы власть «словесных формул», мифология языка стала занимать все большее и большее место в советской действительности. «Власть слов» становилась самым тяжелым проявлением «духовной неволи». Поэтому в нашем «кримкабовском» кружке обсуждение вопросов языка и языковой культуры становилось одной из самых важных тем.

Создал я тогда и «тесты» на «чувство русского языка». Для «первой категории» (низшей) я предлагал различать два слова в письменной и устной речи: «кушать» и «есть», «супруга» и «жена». Для второй (вышей) — «разница» и «различие», а также употребление выражения «большое спасибо» (т. е. «большое “Спасибо Бог”»). Было что-то и еще в продуманных мною тестах на интеллигентность речи, но я уже точно не помню. Самое важное исчезло из моей памяти.

Когда было приказано не носить длинных волос, остригли и Александра Александровича Мейера. Он очень стеснялся своего вида (в моих записках, в той их части, что были написаны сразу по освобождению, сказано даже — «страдал»).

Когда Ксении Анатольевны Половцевой не было поблизости, он не мог справиться со своими кастрюльками, сварить похлебку, хотя имел еды больше нас, так как преподавал жене одного из начальников лагеря Головкина латинский

(очевидно, она собиралась стать медиком), читал ей стихи В. С. Кемецкого и был в наивном восторге от ее «душевных качеств». Отчасти под влиянием этих встреч с Головкиной у Александра Александровича создалось убеждение, что можно «исправить лагерь путем убеждения: все скверное от организации, а не от людей». Эти взгляды Мейера служили предметом споров в Кримкабе, и я очень жалею, что не записал их точно и подробно: многое в них остается актуальным и по сей день.

В процессе обсуждения позиции А. А. Мейера определились три основания того кошмара, который был создан в лагере и который грозил распространиться на всю страну: злобная идеология, злобное ее осуществление и злобные люди, проводившие все это в жизнь. А. А. Мейер настаивал на том, что основная причина в организации, а правда есть и в стремлении к социализму, и в людях, вынужденных осуществлять дурными методами в какой-то мере хорошие идеи. Мы настаивали, что люди испорчены дурными представлениями, внушенными им злобной идеологией, а организация лагерей — прямое следствие агрессивной идеологической схемы — марксизма (или того, что считается марксизмом).

Взгляды А. А. Мейера отчасти отразились в его статье «Ритм в труде», напечатанной в журнале «Соловецкие острова» и вызвавшей много споров, о чем я уже упоминал.

### Юлия Николаевна Данзас

Прямой противоположностью Александру Александровичу Мейеру была в Кримкабе работавшая напротив него за огромным столом, сплошь заваленном газетами, из которых она делала вырезки для начальства, статс-фрейлина императрицы Александры Федоровны и доктор Сорбонны Юлия Николаевна Данзас, арестованная еще в ноябре 1923 г. и проведшая до Соловков пять лет в тюрьмах Сибири.

Довольно подробно жизнь Ю. Н. Данзас с ее слов описана в книге диакона Василия ЧСВ (фон Бурмана) «Леонид Федоров. Жизнь и деятельность» (Рим, 1966). Она родилась в 1879 г. в Афинах. Была правнучкой французского эмигранта Карла Данзаса. Второй сын Карла Данзаса Константин был секундантом Пушкина. Мать Юлии Николаевны, в девичестве Аргиропуло, была из древнего византийского рода, происходившего по прямой линии от императора Романо Аргира (XI в.), женившегося на последней представительнице Македонской династии — императрице Зое. Блестяще образованная, Юлия Николаевна стала автором нескольких книг, доктором Сорбонны. Прекрасно ездила на лошади. Подолгу жила за границей (чтобы не быть вынужденной исполнять свои обязанности статс-фрейлины, которые ей были неприятны ввиду царившей при дворе атмосферы: спиритах, Митьках Гутневых, Машках Страницах, а главное — Распутине).



как стала работать в Криминологическом кабинете), она пользовалась услугами очень честного молодого человека, бывшего бойскаута — Димы Шипчинского, которого в своих воспоминаниях почему-то назвала типичным «комсомольцем», которым он никогда не был и не мог быть по своим нескрываемым политическим убеждениям. Кстати, Дима Шипчинский (Ю. Н. Данзас называет его «Шепчинеvским») устраивал (с большим риском для себя) свидания Данзас с католическими деятелями.

На Соловках за работой над газетами она постоянно тихонько напевала себе под нос католические молитвы, но при этом не выпускала изо рта самокрутку, вставленную в длинный мундштук. Курила ли она арестантскую махорку или иностранный табак из какой-либо посылки — Бог весть. Она все могла, все стоически переносила. Никто не ведаёт — сколько она знала, сколько помнила интересных людей, но живого непосредственного обаяния, столь необходимого для общения с молодежью на Соловках, у нее не было. И в этом она тоже была прямой противоположностью А. А. Мейеру. Я пишу это не для того, чтобы унизить одну и восхвалять другого. Это мое противопоставление двух душевных складов не имеет оценочного характера. Железный, но замкнутый характер Ю. Н. Данзас по-своему вызывал восхищение. Ее впоследствии осуждали многие, отрицательный отзыв о ней принадлежит, кстати, и Н. А. Бердяеву, однако преданность католической вере, с помощью которой она пыталась осветить всю русскую историю, начиная с киевского князя Владимира I Святославича, которого она считала верным Римом, по-своему достойна уважения, хотя тенденциозность ее работ очевидна.

Ю. Н. Данзас много писала, писала и по освобождении из «советского плена», но на Соловках не имела большого влияния на молодежь.

Ее жизненный путь к католицизму записан, как я уже сказал, с ее слов, в книге диакона Василия ЧСВ (фон Бурмана) «Леонид Федоров. Жизнь и деятельность», которая в значительной мере освобождает меня от необходимости особо останавливаться на ее интереснейшей биографии. Скажу только, что в подробных сведениях о себе она почему-то опустила, что в Первую мировую войну одно время служила на передовых позициях в полку уральских казаков. Почему казаков и к тому же именно уральских? Юлия Николаевна объясняла это так: в кавалерии она хотела служить, так как отлично ездилa верхом, а у уральских казаков — потому, что они были старообрядцами и отличались строгостью нравов. Ей простили то, что она не могла управляться с пикой (пика была для нее слишком тяжелой), но пашкой она, по ее словам, овладела хорошо (даже сдала экзамен). При Временном правительстве ее уговаривали взять на себя командование женским батальоном смерти. Она отказалась, и затем уже это командование было поручено Бочкаревой.

Непонятно мне — почему в ее воспоминаниях о себе нет ничего о дворе и об императорской фамилии. Но в той же книге католика диакона Василия сообщается, что она собиралась писать роман о государыне Александре Федоровне. Жаль, что она берегла интереснейший материал для романа, потому что намерения своего не выполнила, да и беллетристка Юлия Николаевна была слабый. Это видно по ее повести «Соловецкий Абелья», помещенной в журнале «Соловецкие острова» под ее обычным псевдонимом «Юрий Николаев». К тому же беллетристическая форма всегда находится в разладе с достоверностью. Знала же Юлия Николаевна двор очень хорошо и много рассказывала о жизни государя и государыни (в Петербурге так принято было называть императора и императрицу).

Из рассказов Ю. Н. Данзас о семье государя мне вспоминаются три как наиболее важные. Во-первых, мне никогда не встречалось упоминания о том, что при дворе после «Кровавого воскресенья» 1905 г. был объявлен траур и никакие балы и широкие приемы некоторое время не существовали. Более известно, что государь с семьей 9 января находились не в Зимнем, а в Александровском дворце в Царском Селе и поэтому непосредственной вины за гибель людей нести не могли. Во-вторых, в начале войны 1914 г. был повешен как шпион полковник Мясоедов, начальник пограничной службы близ Восточной Пруссии, к которому после охоты заезжал (или только однажды заехал) обедать германский император Вильгельм Второй. Государь достоверно знал, что Мясоедов не был ни шпионом, ни просто предателем, но под давлением общественного мнения, обвинявшего государыню в симпатиях к немцам, из трусости подтвердил смертный приговор суда. Государь очень мучился этим и все дальнейшие несчастья считал Божиим наказанием за свое малодушие. В-третьих, Юлия Николаевна много рассказывала об ужасных переживаниях государыни, боявшейся покушений при любом выезде государя.

Другой запомнившийся мне рассказ Ю. Н. Данзас касался ссоры семьи Столыпиных с царской семьей. После покушения на Столыпина на Аптекарском острове государь пригласил Столыпиных жить в Зимнем дворце. Столыпины переехали и разместились на втором этаже. Дети Столыпина бегали по всем залам и, играя, забирались на трон. Александра Федоровна имела по этому поводу объяснение с женой Столыпина, не отличавшейся тактичностью. Она стала защищать своих детей и, между прочим, «дала понять», что муж ее значит для России больше, чем государь. После этого случая семью Столыпиных устроили где-то в другом помещении, а государыня не смогла забыть нанесенного мужу оскорбления, что не могло не быть замеченным охранкой. Столыпин «впал в немилость у охранного отделения», что, возможно, и отразилось на охране Столыпина в Киевском театре, где он был убит.

Может быть, в этом последнем рассказе Ю. Н. Данзас и есть неточности, но запомнил я его точно. Проверить его следовало бы...

При всех огромных знаниях Юлии Николаевны и огромном мужестве в ней был элемент какой-то, осмеливаюсь сказать, примитивности. Вот, например, ее суждения о поэзии. Она говорила, что ставит Лермонтова выше Пушкина. На каком-то уровне поэзии, мне кажется, нельзя решать вопрос о том, кто выше, кто ценнее. Можно лишь сказать — кто из поэтов лично ближе, к кому чаще обращаешься. Кто выше, Державин или Баратынский? А уж тем более нельзя было бы в этот ряд ценностных определений вносить поэтов XX в. Скажу, что уже в тот период мы все — «кановцы» — очень любили многие из стихотворений О. Мандельштама; были среди нас поэты, подражавшие «Столбцам» Н. Заболоцкого. Стихи «Столбцов» были озорными, и это нам тоже нравилось. Любили Всеволода Рождественского, гораздо больше, чем его любят сейчас. Не скажу, что знали наизусть стихи Белого или Брюсова. Наизусть знали больше всего Блока и отчасти Волошина, разумеется, и упомянутых Мандельштама и Заболоцкого. Из старых поэтов больше всего знали Пушкина, потом Баратынского, Дениса Давыдова, Лермонтова. Вообще это очень интересно — кого молодежь знает наизусть в ту или иную эпоху, в чьей поэзии ощущается душевная потребность...

Но я отвлекся от рассказа о Ю. Н. Данзас. Ее некоторая примитивность сказывалась и в ее католической позиции.

Никто, кажется, не обращал внимания на то, что большая эрудиция при недостатке обобщающих способностей может играть даже в известной мере отрицательную роль. Эрудиция укрепляет человека в его уверенности в собственной правоте, мешает его пониманию нового, непривычного. Чувство собственного превосходства над другими, которое развивает эрудиция, при недостатке творческих способностей может затруднять общение с людьми. То, что Ю. Н. Данзас приняла католичество, будучи уже вполне зрелым и мыслящим человеком, было для нас понятным: ей хотелось твердой духовной опоры, и вполне естественно, с нашей, юношеской точки зрения, она обратилась к вероисповеданию своих французских предков. О католичестве наша православная молодежь с ней не спорила, да и как могла спорить со своими скромными познаниями в богословии? Однако, когда в журнале «Соловецкие острова» мы прочли ее очерк об инквизиции в православной церкви, мы с ней как-то замерли в разговорах. Две причины: если у православных тоже была инквизиция, то в чем это оправдывало католическую инквизицию, вторая причина — давать еще козырь антирелигиозникам, особенно в условиях лагеря, переполненного православным духовенством, показалось нам недостойным.



В романе Бориса Ширяева «Неугасимая лампада», опубликованном в Париже и перепечатываемом в «Нашем современнике», образ «фрейлины трех императриц» как будто бы опирается на Юлию Николаевну Данзас, так как других фрейлин на Соловках не было, но он значительно изменен. Стоит ли упоминать о том, что Ю. Н. Данзас не была баронессой, а фрейлиной (вернее, статс-фрейлиной) могла быть только у одной императрицы, в ее случае — у Александры Федоровны и т. д. Но роман есть роман, и это надо иметь в виду, читая книгу Б. Ширяева.

### Гавриил Осипович Гордон

В 1930 г. в тринадцатой карантинной роте поселили Гаврилу Осиповича Гордона, члена ГУСа в прошлом — человека удивительно образованного, «бывшего толстяка» (особый тип людей, которые на воле были полными, а в лагере вынужденно похудели).

Его появление всюду было всегда очень заметным, хотя подобающего ему видного места в жизни он никогда не занимал и не занял. Наша команда молодежи тотчас же приняла меры, и вскоре он был водворен в 7-ю, «артистическую роту», а не на работу — прямо в Криминологический кабинет. Дальше мы уже приняли меры, чтобы он не очень выделялся: на поверках не стоял в первом ряду, в коридорах УСЛОНа не очень громко разговаривал. Но он и из заднего ряда успевал бросить две-три реплики на нотации командира А. Кунста, которые тот нам читал на поверках. Реплики эти (в виде находчивых вопросов или поддакиваний, подчеркивавших глупость сказанного) могли вывести из себя любого дурака-командира, а Кунст, хоть и был ловок, но особым умом не отличался.

О Г. О. Гордоне мне не удалось найти каких-либо печатных материалов, кроме его собственных книг и статей. Книги его были учебными пособиями по истории: «Чартистское движение», «Революция 1848 года», «История классово́й борьбы на Западе». Ни статьи, ни учебные пособия не дают представления о громадном диапазоне его знаний. Он в совершенстве владел древнегреческим и немецким языками, хорошо знал латынь и французский, свободно говорил по-итальянски, читал по-английски, испански, шведски и на всех славянских языках. Постоянно стремился узнать что-нибудь новое. На Соловках он нашел случай учиться арабскому языку у муфтия Московской кафедральной мечети и давал ему в ответ уроки древнегреческого.

По биографической справке, данной мне не так давно его дочерью Ириной Гавриловной, которую я разыскал в Москве, Г. О. Гордон родился в 1885 г. в городе Спасске. Семья переехала в Москву в 1890 г., где он окончил гимназию, затем университет. В 1906–1907 гг. прослушал курс так называемых «Летних

семинаров по философии» у Когена и Наторпа в Марбурге. В 1909 г. служил в Пятом Киевском гренадерском полку. В 1914 г., перед самой войной, путешествовал по историческим местам Греции и Турции, о чем, кстати, любил вспоминать у нас в камере. А затем пошла обычная жизнь интеллигента той поры: мобилизация в армию, участие в различных общественных и ученых учреждениях периода революции, чтение лекций в Москве и провинции. Ректор Тамбовского университета, основатель Тамбовского научно-философского общества. Затем член Коллегии Наркомпроса РСФСР, заместитель председателя Совета по делам вузов В. П. Волгина, член Педагогической секции Государственного ученого совета и т. д. и т. п.

Для молодежи на Соловках он был своего рода университетом: он не просто давал справку по любому вопросу, а охотно для одного или двух мог прочесть импровизированную лекцию с точными библиографическими справками, привести цитаты, прочесть стихи. И что было особенно нам в ту пору важно — привести на немецком нужные места из «Фауста» Гете, которым под влиянием Мейера мы все тогда очень интересовались. Володя Раздольский, живший с нами в одной камере, удивительно умел извлекать из него необходимые и интересные сведения и вслушиваться в его собственные рассуждения. Впоследствии, уже в Москве и Ленинграде, при встречах со мной Г. О. Гордон отмечал незаурядные способности Раздольского, но при этом жалел, что в нем много дилетантства и «отсутствует школа».

Молодежь Гаврила Осипович привлекал своей «жовиальностью», непосредственностью, полным отсутствием позерства (которое всегда так соблазнительно для профессора), неумением сдерживаться и откровенностью. Вечно он попадал в какие-нибудь истории и наживал врагов, что было крайне небезопасно в то время.

Помню, как он появился в Крымкабе и отрекомендовался: «К Гордону Байрону и Гордону-аптекарю никакого отношения не имею...»

### **Павел Фомич Смотрицкий**

Помню, простить себе не могли, что пропустили в 13-й, карантинной роте Павла Фомича Смотрицкого. Был он замечательный художник из круга «Мира искусства», участник русско-финляндской художественной выставки, друг архитектора Оля, построившего дачу Леонида Андреева на Черной речке. Его малая известность как художника, думаю, объясняется его исключительной скромностью, какой-то психологической неприметностью. Он не обращал на себя внимания ни внешностью, ни манерой себя держать, ни всегда спокойной и тихой речью.

После положенного срока пребывания в 13-й роте его, как больного, отправили на остров Анзер, куда собирали больных и старых и где он устроился работать как художник в шкатулочной мастерской. Была эта мастерская учреждением примечательным. Там работали хорошие столяры, краснодеревщики, делавшие в основном шкатулки из икон. Иконы им выдавались из запасников, которыми ведал Н. Н. Виноградов. В основном это был XVIII и XIX век, но я подозреваю по обилию продукции, что шли и иконы XVII века, которые считались тогда не заслуживающими внимания. Да что «тогда»! Еще в 40-х гг. (по-видимому, в конце войны) один доктор искусствоведения в городе Горьком разрешил освободить под госпиталь церковь, в которой был склад икон XVII—XVIII веков. И все иконы были просто сожжены.

Дерево икон было сухое, добротное (рассказывали, что были даже кипарисовые доски), столяры еще не перевелись, и бедный Павел Фомич, верующий и понимающий в иконах, принужден был эти шкатулки расписывать. Я, впрочем, этой продукции, расхोdivшейся в Москве, никогда не видел.

Выписать Павла Фомича с Анзера было труднее, чем спасти из 13-й роты, но все-таки удалось, и весной 1930 года, привезя с собой чудные акварели, он стал принимать участие в наших беседах в Кримкабе. Помню серию его кустов под снегом. Некоторые вещи из этой серии были переведены в графику для печати и опубликованы в журнале «Соловецкие острова». Внизу, в уголке справа, на них, как я помню, были в кружке его инициалы.

Павел Фомич никогда не говорил длинно, но все его замечания и ответы были очень тонки и «к месту». Помню такой разговор. Я рассказал ему о своем наблюдении: писатели конца XIX и начала XX века стали изобретать себе особые одеяния. Первым стал по-особенному одеваться Лев Толстой (кстати, мы все тогда ходили в толстовках — одежде, не требовавшей не только воротничка, но порой и нижнего белья), потом особые одежды изобретали себе Стасов, Горький, Леонид Андреев, Блок, Волошин, Белый, Скиталец и т. д., и т. д. Не изобретал себе особой одежды только Чехов. Павел Фомич подумал и сказал: «Да, но Чехов одевался как типичный доктор». Павел Фомич был совершенно прав. Я вспомнил свое детство, когда часто хворал, меня навещали детские врачи и меня водили по врачам. У Чехова несомненно было «докторское самосознание» в одежде. Павел Фомич был совершенно прав.

Этим одним своим тонким замечанием Павел Фомич запомнился мне на всю жизнь.

### Владимир Сергеевич Раздольский

Первым человеком моего возраста, с которым я познакомился, а потом и подружился в Кримкабе, был Володя Раздольский из Ростова-на-Дону. Я его уже упоминал выше. Он был студентом, интересовался философией и сам отчасти философствовал. Что-то даже писал украдкой. Наружность его была примечательной. Огромные черные глаза. Постоянная усмешка, кривившая рот, как бы сопровождавшая его какие-то невысказанные мысли. Вечно дымящаяся трубка в зубах. Какая-то физическая слабость при быстроте движений. Сапоги с голенищами, в которых ноги свободно болтались, а сапоги стаптывались с каблуков (Володя ходил, как-то странно ударяя пятками). Работать он не мог. Он только читал, думал, рассуждал. Если же Александр Николаевич Колосов давал ему поручения, то он так долго обдумывал, как за них приняться, что приходилось передавать их другому, то есть мне или Александру Артуровичу Пешковскому. Казалось, что Володя ни на что не обращает внимания, кроме своих философских грез. Поэтому все бытовые предметы он называл одним словом — «собачкой». «Собачку» потерял — это значит и трубку свою потерял, и карандаш где-то оставил, и поручение не выполнил и все прочее. «Где это собачка?» — спрашивал он и предоставлял нам самим догадываться о содержании его вопроса. В Кримкабе он либо был занят чтением где-то добываемых им интересовавших его книг, либо «умными» разговорами с Мейером (если последнего не занимала какими-либо разговорами, всегда шепотом, Ксения Андреевна Половцева, приносившая ему обед в баночках). Разговоры, размышления Володи были всегда исключительно интересны. Продолжай он жизнь в нормальных условиях, из него несомненно получился бы интересный мыслитель. Жили мы с ним после отъезда «папашки» Колосова в 7-й роте вместе в одной камере. Он спал под окном на топчане. Добудиться его утром было всегда трудно. Изредка он напивался (когда на Соловках появлялась «контрабандная» водка), и тогда мы его спасали от соглядатаев и дежурных всей камерой. Укладывали на топчан, накрывали пальто и говорили — «болен», чтобы не требовали на поверку. Был он ценителем стихов Свешникова-Кемецкого, жившего в нашей же камере, и постоянным собеседником Гордона. В разговорах тягаться с Володей я не мог, но слушателем я был внимательным. Володя знал в общем-то мало, но умел втягивать в рассуждения и споры интересных «стариков» (Гордона, Мейера, Данзас, Сухова, Бардыгина — впрочем, последний был вовсе не стар — и др.). В существовании Бога не сомневался, но церковным не был.

Приезжала к нему на свидание мать. Отца у него не было. Мать же была необыкновенно красива, несмотря на измученность в лице. Служила, зарабатывала,

посылала единственному сыну... Володя познакомил меня с ней. Происхождения Володя был украинско-польского. Его полная фамилия была Раздольский-Ратошский, начало рода терялось где-то в глубине веков...

Когда вслед за мной его перевезли в Медвежью Гору, он присоединился к молодежи, группировавшейся вокруг А. Ф. Лосева.

### **Владимир Кемецкий (Свешников)**

Стихи на Соловках писали из молодежи очень многие. Вообще в 20-е годы редкие интеллигентные молодые люди не писали стихов. Такое было время. Одни писали тайно, никому не показывая, другие показывали, но не продвигали их в печать, третьи резво печатались в «Соловецких островах». К последним принадлежали из моих знакомых А. Панкратов, Ю. Казарновский, Д. Шипчинский, А. Пешковский, Л. Могилянская, но безусловно самым талантливым и «настоящим» был Владимир Кемецкий. Впрочем, Кемецкий — это фамилия его матери и поэтический псевдоним. Его отцовская фамилия, под которой он и значился в лагере, была Свешников.

Я прибыл на Соловки в самом начале ноября 1928 года, но только весной 1929-го смог посещать соловецкую кремлевскую библиотеку, брать в ней книги. Это была хорошая библиотека — там оставались все присылаемые заключенным книги, а среди них было много профессоров, людей с высшим образованием. Работали в библиотеке: Кох (немецкий коммунист, молодой, без единого зуба — выбиты на допросах), Борис Брик (поэт), А. Н. Греч (потомок известного Греча, посажен за дело «Общества русских усадеб»), Новак (венгерский коммунист) и Володя Свешников. Помню, что в помещении было очень холодно, и Володя, синий от холода и голода, в деревенском полушубке с огромным вырванным клоком (так ему этот клок никто и не зашил), выполнял требования на книги — подносил их к стойке, за которой стояли «читатели». Вид у него был всегда обиженного ребенка. Ему было на вид, если взглядеться, лет 20 с небольшим. На самом деле ему было под тридцать. В 1929-м, в конце, или в начале 1930 года Володю поселили в камеру вместе со мной. Его стихи очень ценились, и его всегда немножко (в меру своих возможностей) подкармливали те, кто получал посылки. Поражала его искренность и непосредственность: на его лице отражались все его чувства. Ему приходилось часто как-то заслонять и защищать, так как он сразу реагировал на каждую несправедливость, грубость. Было даже иногда что-то истерическое в его возмущенных криках. Свой гнев он направлял иногда даже против тех, кто ему помогал. Сокамерники ему все прощали за талантливость его поэзии. Только небольшая часть им написанного попала в журнал «Соловецкие острова» за 1930 год, а может быть, за 1929-й и 1931-й (я не проверял). Печатали и его





Более полувека разыскивал я какие-либо сведения о Володе Свешникове и его стихи, помимо тех, что были напечатаны в журналах «Соловецкие острова» и «Новые Соловки». В конце концов более чем через шестьдесят лет я получил обстоятельное письмо от историка Э. С. Столяровой, оставляющее надежду, что можно будет найти и еще что-либо из его стихов. Это письмо, ввиду его важности, я печатаю полностью, как справку о его трагической смерти. 22 июля 1994 года Э. С. Столярова писала мне:

«Уважаемый Дмитрий Сергеевич! Чрезвычайно обрадовалась Вашему письму в связи с публикацией стихов В. Кемецкого (в первом издании данных «Воспоминаний» и 1995 г. — Д. Л.). Исполняю Вашу просьбу и пишу о том, что мне известно о нем (о В. Свешникове-Кемецком. — Д. Л.).

Стихи В. Кемецкого в рукописных оригиналах и машинописи, по-видимому, сделанной А. Панкратовым, попали ко мне в начале 80-х годов от моей родственницы Панкратовой — сестры известного Вам по Соловкам А. Панкратова (который умер в 1947 году). Возможно, А. Панкратова и Кемецкого связывали дружеские отношения, иначе как могли к нему попасть эти стихи.

В стихи я, что называется, «впилась». Я по образованию совсем не литературовед (я окончила истфак МГУ, по основному роду деятельности — редактор, сейчас, на пенсии, — библиотекарь), сразу почувствовала незаурядность и стихов, и личности их автора. Мне показалось до ужаса несправедливым и обидным, что у этого поэта нет читателя, что его стихи недоступны людям.

По датам и городам под стихами я попыталась проследить жизненный путь Кемецкого. Получалось, что сначала он жил за границей (Париж, Берлин), потом некоторые наши города — Москва, Тифлис, Харьков, потом Соловки, Кемь, потом — Архангельск. Далее все обрывалось.

Я попыталась разыскать какие-нибудь возможные публикации стихов в нашей стране. После долгих поисков мне повезло: я обнаружила три его сонета в альманахе «Недра» за 1924 год. Их автором значился В. Кемецкий. Так отпала бывшая у меня версия, что Кемецкий — псевдоним, взятый поэтом на Соловках в Кеми.

Я даже отправилась на Соловки, пыталась у тамошних музейных работников что-либо разузнать. Они потихоньку и в основном для себя занимались соловецкими узниками, хотя тогда, до перестройки, это было еще небезопасно. У меня завязалась дружеская переписка с Антониной Мельник, работавшей в музее, но пролить свет на судьбу Кемецкого, она, к сожалению, не смогла. Зато я прочувствовала высокую красоту Соловков, которая вошла во многие стихи Кемецкого.

Безуспешно я пыталась что-либо выяснить и в “Мемориале”. Написала письмо А. Рыбакову: у него в “Детях Арбата” был герой А. Панкратов, который в Канской пересылке встретился с поэтом, чья судьба напоминала судьбу Кеμεцкого, — он тоже молодым человеком вернулся в Россию из Парижа. А. Рыбаков мне ответил. Но, к сожалению, этот путь никуда не привел.


Тогда я стала искать людей, профессионально занимающихся поэзией 20-х годов. Так я познакомилась с Н. А. Богомолковым. И это была величайшая удача: познакомившись со стихами Кеμεцкого, он смог связаться с Вами, послал Вам переданные ему мной стихи Кеμεцкого. И вот пришло от Вас большое письмо, где Вы рассказали о Соловках, об окружавших Вас там людях, об атмосфере и — о радость! — о Кеμεцком. Так некий бесплотный образ стал реальным человеком Володей Свешниковым, поэтом Владимиром Кеμεцким. Для меня тот день, когда я прочитала Ваше письмо, стал днем великой радости.

Затем через А. Лаврова я послала Вам все имеющиеся у меня стихи Кеμεцкого. И Вы сделали то, о чем я столько мечтала: Вы рекомендовали опубликовать в “Нашем наследии” несколько стихотворений. И вот, в номере 2 за 1988 год появились с небольшим моим введением стихи Кеμεцкого. Поэт обрел читателя. Какое счастье!

На публикацию пришло два отклика. Во-первых, письмо Зелениной Елены Павловны, которая в 30-е годы приехала в Архангельск к ссыльным матери и отчиму. Здесь она познакомилась с ссыльным Яном Глинским, за которого вскоре вышла замуж. Глинский был знаком с Кеμεцким, жившим после Соловков в Архангельске. К ним часто приходили ссыльные литераторы и художники, в том числе и Кеμεцкий. Следующая встреча Зелениной с Кеμεцким произошла в Москве. Кеμεцкий несколько раз навещал ее. Затем она встретила с ним в Уфе, где он якобы осел. Она с сожалением сообщила мне, что Кеμεцкий к тому времени очень много пил, не сумев приспособиться к действительности.

Совершенно уникальный отклик пришел от доктора исторических наук Клибанова Александра Ильича. (Осмелюсь сказать, что я с ним подружилась и часто виделась вплоть до самой его смерти. Это был удивительный человек и большой ученый. 13 лет его жизни прошли в лагерях. Я помогала ему подготовить к печати переписку с женой. Однако, увы, сделать это он так и не успел. А письма их замечательные — в том числе и как документ эпохи.)

С Кеμεцким он встретился в 1937 году в трюме баржи, везшей партию заключенных в лагерь Воркуты. Кеμεцкий произвел на него такое сильное впечатление, что он всю жизнь помнил наизусть некоторые его стихи. А. И. еще до встречи со мной наговорил на магнитофон свои воспоминания о встрече с



Кемецким. Эти воспоминания в машинописи есть и у меня. Приведу отрывок из них. “Однажды я был привлечен каким-то шумом у лестницы, что вела из трюма на палубу. Я был неподалеку от этого места, быстро слез с нар и подошел. И увидел следующее. Какой-то молодой человек, лет 25—26, человек маленький, худой, светловолосый и, насколько можно было видеть при слабом освещении, очень бледный, подался на несколько ступенек вперед. А перед ним стоял здоровенный детина конвоир, с трудом сдерживающий огромного пса, который, поднывшись на задние лапы, ощерился на маленького человечка. Но тот, весь дрожа от волнения, негромко, но с необычайной силой, с огромным напором, с грозой в голосе бросил конвоиру: “Не подходи... Убью!” — нагнулся и с силой, которой никак нельзя было в нем ожидать, вырвал из ступеньки доску и, замахнувшись, приблизился к конвоиру. И так он был страшен, так грозен, что не только конвоир, но и его собака подались назад и скрылись на палубе.

Вместе с несколькими товарищами я подошел к этому человеку. Он был страшно взволнован. Его лихорадило. Мы с трудом увели его назад, усадили. Оказалось, что ему надобен был глоток воздуха. Он задыхался и сказал мне, что больше не в состоянии терпеть и готов был пойти на все и, собственно, даже хотел, чтобы конвоир его пристрелил, чтобы разделаться сразу со всеми этими муками, со всем этим плавучим адом, каким была наша баржа.

Наши отношения с ним как-то очень быстро стали хорошими, дружескими, доверительными. И как это обычно было принято между заключенными, каждый рассказывал друг другу историю своей жизни, тот путь, который привел его в это место. Рассказал мне о своей жизни и этот человек. Его фамилия Свешников. Он принадлежал к какому-то известному дворянскому роду. В годы революции его родители эмигрировали, скитались, в конце концов обосновались во Франции, в Париже. С ними и он. У него обнаружился поэтический талант, по-видимому, сразу о себе заявивший и бесспорный. Он был принят в салоне Гиппиус и Мережковского, пользовался там большим успехом. Сам он с большим интересом приглядывался к бывавшим и выступавшим там лицам. Но вскоре почувствовал, что в салоне ему душно — душно нравственно, так же, как физически душно было в этой барже.

Он бросил салон, порвал вообще с кругами эмиграции и вступил во французский комсомол. Но он был поэт. Он не умел заниматься конспиративной политической работой, был выслежен в каких-то неудобных французской полиции действиях и выслан из Франции. Он переехал в Берлин. Там снова вступил в комсомол — Югенбунд, участвовал в подпольной работе, тоже был выслежен полицией, и на этот раз — при каких-то обстоятельствах, не помню, — его переправили

в Советский Союз. Он поселился на юге, в каком-то большом городе. Попал в редакцию газеты “Заря Востока” (издавалась в Тифлисе. — Д.Л.), где работал корреспондентом, литературным правщиком. Жил хорошо, дышал полной грудью. Все ему было ново, все интересно. Он слился с окружавшей его жизнью, и это были одни из лучших лет всей его еще такой небольшой биографии.

А потом случилось совершенно невероятное. Он был обвинен в том, что проник в Советский Союз с разведывательными целями, что был шпионом, то ли немецким, то ли французским, то ли немецко-французским, арестован и сослан в Соловецкий лагерь. Там он пробыл несколько лет. Говорил, что внешние условия жизни для него бывали не всегда тяжелыми. Он даже имел возможность не только писать, но и печататься в каком-то литературном альманахе, который издавали заключенные литераторы. Он выступал под псевдонимом Владимир Кемецкий.

Он читал мне (А. И. Клибанову. — Д.Л.) свои стихи. Я вспомнил далеко не все. Собственно, только четыре стихотворения. Я думаю, это очень хорошие стихи, и хорошие потому, что в них вылился сам их автор. Стихи, которые мне запомнились, носят, я бы сказал, характер лирическо-гражданственный, обличают немецкое мещанство, в котором он угадывал будущих фашистов. Запомнился мне кусочек сюжета его стихотворения “Герр Мюллер”: Герр Мюллер веселится. Это лабазник, лавочник, мясник — с красной короткой шеей, который вдохновляется колбасой, баварским пивом. Он жадно ловит в воздухе запах крови, который будоражит его засаленную душу. Ну, что-то такое... Я говорю об ощущении, которое у меня осталось от этого стихотворения. Были и другие.

Когда мы прибыли к месту назначения, нас распределили по разным командировкам. Я попал в шахту “Капитальная”. Свешников — в другую. Больше мы не встречались. Где-то в конце 1937 года до меня дошло известие о тяжелой болезни Свешникова. Это была последняя весть о нем». (На этом кончается выдержка из письма А. И. Клибанова. — Д.Л.).

Теперь из документа Министерства Безопасности, опубликованного в ваших “Воспоминаниях” (речь идет о первом издании данных “Воспоминаний”, где приведены и все стихотворения Свешникова, которые он считал возможными опубликовать), ясно, что Кемецкий был расстрелян в январе 1938 года, а в мае 1957 года дело его было прекращено “за отсутствием состава преступления”. У меня, правда, возник один вопрос: почему решение о расстреле было принято тройкой УНКВД по Архангельской области, хотя Кемецкий сидел в Воркутинских лагерях?

Господи, за что достались этому человеку такая жизнь и такая смерть?

Еще один отзыв о Кемецком я получила от А. Н. Доррер, сестры жены еще одного поэта 20-х годов — Вл. Щиrowsкого. Ей не довелось видеть публикации в “Нашем наследии”. Тут получилось иначе. Я помнила, что в поэме «Память крови» Кемецкий выбрал эпитафию из Щиrowsкого. И вдруг я встречаю в “Огоньке” подборку стихов Щиrowsкого в рубрике “Русская муза XX века”, которую вел Евг. Евтушенко. В “Огоньке” мне дали адрес публикатора — Доррер А. Н., которая жила в Херсоне. Я написала ей. Она моментально отозвалась. (О, какое тогда было время! Как мы были обольщены изменениями, происходившими в стране, сколько мы ждали! Куда все девалось?) Она не очень много знала о Кемецком, написала мне, что Кемецкий и Щиrowsкий были друзьями, рассказала об одном эпизоде, который, как считал Щиrowsкий, стал поводом для ареста Кемецкого. Дело было в Харькове: “...в 27 году был случай, когда однажды ночью после совместных возлияний, где-то на площади Свешников кричал: “Продам свой плащ и уеду в Париж!” Кажется, даже расстилал этот плащ на камнях мостовой. Ведь это были еще совсем мальчишки!» Кемецкий и Щиrowsкий переписывались, когда Кемецкий был на Соловках. После освобождения Кемецкий заезжал к Щиrowsкому, тогда жившему в Керчи. Сам Щиrowsкий позже тоже был арестован, освобожден и затем погиб на войне в первые же дни. “Огонек” заинтересовался стихами Кемецкого, но, увы, времена уже начали меняться...

Потом я познакомилась с В. Б. Муравьевым, бывшим политзаключенным, который сначала в “Литературной газете”, а потом отдельной книгой (“Среди других имен”) опубликовал стихи поэтов-заключенных. Среди них был и Кемецкий. Его стихи он взял из журнала «Соловецкие острова». Познакомившись со всеми стихами Кемецкого, он решил издать их полностью. Но и этому не суждено было осуществиться. Я как-то все время чуточку опаздывала.

Однажды я получила письмо из Петрозаводска из Центра по изучению духовной культуры ГУЛАГа от Юрия Линника. По его просьбе я подготовила большую подборку стихов Кемецкого и А. Панкратова, которые и были опубликованы в журнале “Север” в № 9 за 1990 год. Издательство “Карелия” собиралось издать книгу “Неугасимая лампада”, куда должны были войти и стихи Кемецкого. И опять — увы! Был у петрозаводчан и другой план, тоже не осуществившийся. По просьбе Ю. Линника я послала для создавшегося мурзее автограф стихотворения Кемецкого “Песнь о возвращении”, оставив себе ксерокопию. Это единственный автограф, с которым я рассталась. Остальные до сих пор у меня.

А потом — Ваша книга. И моя радость. Вот, по сути, и все факты, уважаемый Дмитрий Сергеевич, что мне известны. Если Вам будут интересны те сведения, что я Вам сообщила, я буду рада. Думаю, что можно бы еще попытаться поискать публикации Кемецкого в газетах тех городов, куда забрасывала его судьба.

А вдруг».

На этом кончается интересующая нас часть письма Э. Столяровой. Сведения о Кемецком могут оказаться в парижской части архива Гиппиус и Мережковского, в каких-либо изданиях Керчи (мне еще лет 20 назад говорили, что видели стихи Кемецкого в изданиях Керчи), а также следовало бы просмотреть подборку газеты «Заря Востока».

Мои воспоминания о Володе хотелось бы заключить строками из его стихотворения 1927 г.:

*Мои стихи для всех времен  
Мечтателей, бродяг и пьяниц,  
Для тех, кто в жизни полюбил  
Вино, любовь и вдохновенье,  
Кто жизнь иную уловил  
Сквозь эти тусклые мгновенья...  
Сей миг приветствую, как праздник...  
Суровый час грядущей казни.  
Вы легкие! И больно мне —  
И радостно полет ваш милый  
Следить — в огромной тишине  
Моей тюрьмы, моей могилы.*

«Грядущая казнь» (расстрел) встретила его ровно через десять лет.

### **Александр Артурович Пешковский**

Писать о нем серьезно трудно. И все же в нем наряду с чрезвычайной вульгарностью и практичностью была наивность, простодушие и что-то еще, привлекавшее к себе. Он работал в Кримкабе еще до меня, был меня чуть старше возрастом, и А. Н. Колосов держал его при себе своим первым помощником, что он и любил нам показывать. А мы с Володей Раздольским на это не обижались: «Пусть себе!» Он был чрезвычайно активен и «подвижен». Подвижен не только потому, что вечно что-нибудь добывал и устраивал (для себя, в первую очередь, — иногда и для нас), но и потому подвижен, что был болен какой-то формой хореи: дрыгал ножками (в гольфах и остроносых модных туфлях «джимми»), крутил плечами, ерзал головкой и как-то особенно прорывался словами (из того, что он думал, вечно вырывались



какие-то слова, особенно когда писал). Из отдельных слов, которые вырывались у него, когда он писал, например, заявление с просьбой о помиловании, мы отлично представляли себе этот «документ», полный унижения и преувеличений. «Документ» этот он от нас скрывал, но мы, посмеиваясь, все же жалели Артурыча за то унижение, через которое ему приходилось пройти. Впрочем, освобожден он был досрочно не по заявлению, а за свое поведение в Солтеатре. Летом 1931 г., когда приехала разгрузочная комиссия (она приезжала ежегодно), для нее было дано представление — «Соловецкое обозрение» Б. Н. Глубоковского (автор, режиссер и актер). В театр были допущены и заключенные. Артурыч, который писал в «Соллисток» «театральные рецензии» (хвалил нужных ему актеров и постановщиков), занял в рядах свое обычное место под ложей начальства. Как только поднялся занавес и водворилась тишина, стали слышны вскрики и бормотания Артурыча. Комиссия изумилась, и в этот же свой приезд его освободила. Сам я на этом «двойном» спектакле не был: так рассказывали.

Артурыч пытался писать стихи, прозу — его «шедевр» «Кузьма вдова». Печатался Артурыч в «Соловецких островах», выделяя в своих произведениях отдельные слова крупным шрифтом, и это казалось каким-то продолжением его странной болезни. «Артурыч заикается, когда молчит, а Юрка Казарновский, когда говорит», — шутили про него. Но Артурыч «заикался» и в печатном тексте этими своими нарочитыми выделениями слов. Его прозаическая вещь (с главной героиней, кажется, «Мадам Либерман») была все же неплохой.

Был он племянником специалиста по русскому синтаксису — А. М. Пешковского. Мать его и отчим Шведов приезжали к нему на свидание. Были они из Царского Села (к тому времени уже переименованного в Детское Село). Мать была очень религиозной. Проникнув в Музей, она горячо молилась у выставленных для глумления мощей Зосимы и Савватия.

Артурыч удивительно умел устраиваться, имел всюду блат (соловецкое словцо, прокатившееся потом по всей стране) и окружал себя пишущей молодежью.

Служебные поручения «папашки» А. Н. Колосова он также выполнял отменно. Знал он все слухи, все «парашки», или как их еще называли на Соловках, «радио-парашки», т. е. слухи, исходявшие главным образом с радиостанции — единственной месяцами связующей нитью с материком.

В «Соловецком обозрении» пелось:

*То не радио-парашки  
И не граммофон, —  
То поэт, поевши каши<sup>14</sup>,  
Наш веселый СЛОН.*

<sup>14</sup> А кормили нас главным образом кашей — пшенной, перловой.

Его окружала вся соловецкая молодежь, писавшая стихи: Панкратов, Казарновский, Шипчинский, Свешников-Кемецкий, Л. М. Могилянская (кстати сказать, все они потом были расстреляны, кроме Ю. Казарновского, погибшего от наркомании).


После освобождения из лагеря я встретился с А. А. Пешковским в Ленинграде. Я рассказал ему, что хочу писать очерки для детских журналов (для «Костра», куда уже сдал рукопись) о происхождении тех или иных слов и выражений. Каково же было мое удивление, когда он сразу же и быстрее меня опубликовал серию таких очерков как раз о тех словах, которые я ему назвал, и по тем же справочникам и изданиям. Я рассердился и больше с ним не встречался. Когда и как он вскоре пропал — не знаю, но быть просто незаметным он не мог, даже в Ленинграде. Я же благословляю судьбу, что не вступил на стезю писательства в те годы и стал незаметным, работая корректором сперва в типографии «Коминтерн», а затем ученым корректором в издательстве Академии наук в Таможенном переулке на Васильевском острове.

### **Александр Александрович Бедряга**

После освобождения Александра Николаевича Колосова Кримкабом стал заведовать Александр Александрович Бедряга.

Как сейчас помню его. У него была узкая, сужающаяся кверху, лысеющая голова, усики, красивые лукавые глаза, маленький рот и вечная готовность на лице превратить любой разговор в шутку. Ходил он в темной толстовке и высоких сапогах. Научился, как «папашка» Колосов, читая беллетристику, держать в руке карандаш, готовый в любую секунду предстать перед внезапно появившимся начальством в позе пишущего докладную записку.

Он был юрист, но перед своим арестом бросил свою профессию и стал массажистом в Максимилиановской (платной) лечебнице в Ленинграде. Жил он до ареста в Ленинграде в Озерном переулке в доме, где жил и Б. Д. Греков. Его мать (фамилию ее забыл — кажется, Чеботарева) сватала (еще до ареста) Александра Александровича за свою воспитанницу Лизу. И ждала, что он женится на ней после своего возвращения. Он уклонялся от обещаний, но после больших выпивок на Соловках, до которых он был большой охотник, он обычно бывал в мрачном настроении и говорил: «Женюсь на Лизке». Это означало, что у него болит голова с похмелья. Меня он не очень жаловал, так как я был «непьющий», а для пьющего непьющий всегда враг, неприятель, живой укор! Питал он любовь только к Володе Раздольскому, так как тот охотно участвовал в его пьянках. Стоили эти выпивки больших денег. Водка привозилась контрабандой.



Помню такой эпизод. Напился Бедряга в 3-й роте до положения риз. Лежал пластом на своем топчане, чем-то и кем-то заботливо накрытый. Было это уже в период отсутствия навигации. Пришли почтарки (лодки, которые можно было тащить по шуге и льду, — сравнительно небольшие) и привезли контрабандную водку. Эту водку добывал от почтарей и сам начальник нашего островного отделения «Петя» Головкин — залиvistый пьянчужка. Время прибытия почтарей с водкой он знал точно. И вот, напившись, «Петя» Головкин начинал искать пьяниц по ротам, устраивал обход, сам едва держась на ногах, и сажал в карцер всех пьяных. А попасть в карцер на Соловках было почти гибелью. Надо было обладать огромным здоровьем, чтобы сидеть весь день «на жердочке» (так назывались карцерные узкие скамьи без спинок и притом высокие — ноги не доставали до полу).

Итак, напившись, «Петя» Головкин, ринулся в третью роту, где были «состоятельные» заключенные, имевшие средства покупать водку. При входе начальника в роту дежурный кричал: «Встать, смирно», — двери в камеры открывались, и все должны были стоять руки по швам. А Бедряга лежит! «Петя» Головкин спрашивает дежурного: «А это кто?» «Больной-с», — отвечает дежурный подобострастно. Решив, что «больной» от него не уйдет, а другие пьяницы успеют спрятаться, «Петя» Головкин бросился по другим камерам, а за это время Володя Раздольский и я выволокли «мертвое тело» Бедряги в седьмую роту через всю площадь перед Преображенским собором. Осмотрев все камеры на двух этажах, «Петя» Головкин вернулся в ту, где лежал Бедряга, и не нашел его. «Куда делся?» «Не могу знать», — отвечал дежурный, и, действительно, откуда ему было знать, раз обход он делал вместе с самим Головкиным. Увидев, что его обманули, «Петя» Головкин взревел от обиды и понесся ловить «мертвое тело». Прежде всего пришел в 7-ю роту — роту артистов и музыкантов Солтеатра. Командовал ею эстонский офицер Александр Адольфович Кунст (один из «каламбуров» Адмчасти, где командовали всем веселые белогвардейцы, заключался в том, чтобы давать назначения в соответствии с фамилией). Кунст был хороший товарищ и смелый. Ворвавшись в седьмую роту, «Петя» Головкин накинулся на Кунста: «У тебя в роте бардак, пьянки!» Кунст знал, что возражать Головкину, да еще пьяному, никак нельзя, и, щелкнув каблуками, лихо отрапортовал: «Так точно, гражданин начальник (называть начальника “товарищ” заключенным строго запрещалось), в роте бардак: все в порядке!» Пьяный Головкин очумело посмотрел на Кунста, он чувствовал, что перестал соображать, и сказал: «Все в порядке, говоришь? А ну пройдишь по одной половице» (это был его любимый способ выявления пьяниц). Кунст был трезв и быстро прошелся по одной половице. «Петя» Головкин ринулся по камерам (команда «смирно» была дана, двери

открыты) и вот в первой же камере нашел Бедрягу, лежащего в той же позе. Мы не успели его даже прикрыть шинелью. Бедрягу водворили в карцер, и начались его допросы: «где взял водку, кто переташил». Били при всех заключенных в карцере, но Бедряга не сдался. После этого урки на Соловках прониклись великим уважением к Бедряге, да и к Кримкабу и, не опасаясь, рассказывали нам о своей жизни; эти рассказы записывал я и через записи эти научился владеть письменной речью (в холодной школе в Ленинграде мы сочинений не писали, да и пальцы для письма от холода не гнулись). Бедрягу выручили врачи, определившие его из карцера в больницу с каким-то якобы «острым» заболеванием. Но в целом надо сказать, что начальство с великим «пониманием» относилось к пьяницам и прощало им такие проступки, за которые трезвым грозил бы в лагере расстрел. Так, например, Бедряге были прощены такие вот проступки. Однажды он в подпитии надел пожарную каску, все пожарное обмундирование, взял в руки пожарный топорик, надел на грудь электрический фонарик (все это он достал потому, что в пожарной команде были тоже любители выпивок) и вошел во время представления в переполненный Солтеатр и зычно возгласил: «Пожар!». Началась паника, но, к счастью, никто не погиб. Дело замяли: начальство хохотало. В другой раз он подобрался к «царскому колоколу», висевшему в низкой колоколенке в саду перед Преображенским собором, и ударил в него довольно громко. Дело и на сей раз замяли: начальство хохотало. О пьяных проделках А. А. Бедряги можно было бы рассказывать без конца. Жили мы при нем вольно. «Загонять туфту» и изображать, что наш Кримкаб занят серьезным делом, он умел. Его все любили. Умел он и пошутить, хотя человек он был далеко не умный. Грустно, что после А. Н. Колосова мы уже серьезным делом не занимались. Трудродения жила своей жизнью, а потом была вывезена в Болшево.

После своего освобождения Бедряга не смог устроиться на работу. Нигде его не брали. Поехал в Дмитровлаг под Москву, и там его устроил к себе домработником Дмитрий Павлович Каллистов. Зарегистрировал, записал. В милиции немало удивлялись. Бедрягу хотели признать тунеядцем, но у него был договор с Каллистовым, который обычно заключали с домработницами, и Каллистов его отстоял: «Разве в нашем прогрессивном трудовом законодательстве сказано, что домработницей может быть только женщина?» Придраться не смогли, и Бедряга продолжал пить, имея легальное местожительство и «положение» домработницы. В конце концов он повесился в сарае у Каллистова. Десятки раз он повторял: «Женюсь на Лизке», но так и не переставал пить. А мать его, верно, знала, за кого сватает, и «Лизка», может быть, его бы и спасла от ужасной смерти. Жалко.



За растрату и попытку бегства за границу был взят и вечно оживленный, остроумный и ловкий Михаил Иванович Хачатуров. В те времена еще не было принято прикрывать политические дела уголовными. Эта манера наступила лишь после войны и создания декларации прав человека, когда нашему правительству во что бы то ни стало надо было снизить процент политических дел и политических заключенных. Поэтому положение М. И. Хачатурова в лагере было относительно сносным. Как человек оборотистый и грамотный, он получил какую-то выгодную должность и устроил себе вне кремля (где-то около Бани № 2) крошечную комнатку, с печкой и электричеством. Внутри комнатка была вполне благоустроена, но снаружи завалена дровами и всяким хламом. Каждый старался в лагере быть незаметным и не возбуждать, в частности, зависти. Я был у него раза два и каждый раз как бы возвращался у него в нормальную обстановку.

Он часто заходил в Кримкаб, оказывая нам различные мелкие услуги, при этом всегда с новостями, шутками, анекдотами. И мы ему были рады. Он был интеллигентен, многоопытен. Усвоил себе лучшие черты армянина от отца и лихого казака от матери.

Хотя срок у Михаила Ивановича был десять лет, его, как имевшего не политическую статью, вывезли с Соловков году в 1929-м или 1930-м. О его последующей жизни в лагере на материке я узнал из неопубликованных воспоминаний Николая Васильевича Жилова «Летопись моей жизни». Позволю себе сделать большую выписку (мне дорога о Михаиле Ивановиче каждая мелочь). Автор «Летописи» пишет: «Управление отделением (Беломоро-балтийского лагеря. — Д. Л.) было развернуто на Выгозере в поселке Май-губа, где был поселок, лесопильный завод и опытный заводик (узнаю Михаила Ивановича — с него было достаточно и “заводика”. — Д. Л.) строительных стружечных плит, которым ведал зек-инженер Хачатуров. Хачатуров по фамилии как будто армянин, по внешнему облику он скорее походил на еврея. Седые, серебряные, гладко причесанные волосы обрамляли высокий благородный лоб. Правильные одухотворенные тонкие черты бритого лица и огромные серые, чуть-чуть навывкате глаза. Он имел вид ученого и чем-то напоминал портреты критика и публициста Н. К. Михайловского. Заводик, который возглавлял Хачатуров, был опытным предприятием. Задачи, которые он решал в примитивных условиях, все еще не решены в широких масштабах. Из стружечных плит завода тут же неподалеку построен небольшой, двухэтажный экспериментальный дом, в котором жил и сам Хачатуров с женой. В то время это был уже не единственный пример, что зеку разрешалось». Далее в «Летописи» описываются удобства квартиры Михаила Ивановича. Все так: именно таким — с удобной квартирой, в



окружении блата и друзей — я и привык его видеть. Так как мы в Кримкабе были совершенно не завистливы, то мы его и любили за жизнерадостность.

У Михаила Ивановича многому можно было поучиться в практической жизни, а главное — умению обходиться с начальством, не теряя собственного достоинства. Со стороны глядя, было видно, что он смеется над «начальниками», презирует их.

О М. И. Хачатурове запросил меня С. О. Шмидт. Я написал ему примерно то, что я написал выше, и вот неожиданное письмо от дочери Михаила Ивановича Н. М. Пирумовой: «Примите мою искреннюю благодарность за те строки воспоминаний о моем отце — Михаиле Ивановиче Хачатурове, которые сохранила Ваша память. Для меня это первый голос из неизвестного прошлого. В Соловки он попал, очевидно, в 1924-м или 1925 г. Мне было около двух лет, и я, конечно, его не помнила. Вернулся в 1933 г., весной. Вновь арестован был в августе 1935 г. По существу на свободе пробыл полтора года. Погиб в лагере Усть-Чибью в 1938 г.

В прошлом революционер, в Соловках он обратился к религиозному мировоззрению. Я помню его рассказы о замечательных мыслителях, которых он встречал там, но имен не знаю. Поэтому фамилии, которые Вы называете, очень важны для меня».

### Лада Могилянская

Русско-украинская поэтесса Лидия Михайловна Могилянская, писавшая по-украински и русски (по-украински под именем Лада Могилянська), появилась на Соловках примерно в 1930 г. Была она из Чернигова, из окружения Коцюбинского. В доме последнего собирался кружок молодежи, который, конечно, властям надо было изобразить контрреволюционным заговором. Получила она десять лет, хотя, уверен, интересовалась она только поэзией. Высокая, стройная блондинка, носившая модную тогда прическу «фокстрот» и короткие юбки. Ее содельцы получили меньший срок и остались в основном на материке (в эти годы на Соловки привозили заключенных только с полными сроками — больше десятилетнего был только расстрел). Из молодых украинцев на Соловках были художники Петраш и Вовк. Работала Л. М. Могилянская машинисткой в здании Управления СЛОН, т. е. там же, где помещался Кримкаб. Само Управление СЛОН переехало уже в Кемь, но здание еще оставалось за ним. Оживленная, быстрая, остроумная, увлекавшаяся песнями уголовных, она сразу произвела большое впечатление на нашу молодежь. Распространилась «болезнь», которую мы называли «ладоманией». Кое-что из ее русских стихов, кажется, было напечатано в «Соловецких островах». Я запомнил одну из записанных ею песен «Стоит фраер на фасоне» (вероятно, «нафасонен») на мотив «Позабыт, позаброшен».

Песню эту я любил напевать, и кто-то из молодежи поместил заметку в «Соловецком листке»: «Сотрудник Криминологического кабинета пишет повесть “Стоит фраер на фасоне” — из быта воров». Заметка была шуткой. Писать художественную прозу я пытался на Соловках, но ничего не выходило. Расстреляна она была в Дмитровлаге после смерти Горького (сохранились ее стихи на смерть Горького, напечатанные в лагерной газете).

### Александр Петрович Сухов

Лагерное начальство было очень падко на устройство различных лекций. Они предполагали этим поддержать миф о том, что в лагере не наказывают, а исправляют. Содержание лекций и количество присутствующих их интересовало меньше. Им была необходима отчетность о «воспитательной работе». Поэтому в фойе театра мы иногда собирались на лекции опытных лекторов — Ананова из Тбилиси и Сухова из Ленинграда.

Помню содержание лекции Александра Петровича Сухова о внушаемости. В Криминологическом кабинете Сухов проверял внушаемость подростков Трудколонии. Она была очень высокой, и он связывал это с существовавшим у подростков инстинктом «стаинности» или «стадности». Повышенной внушаемостью Александр Петрович объяснял (в завуалированной форме) вызванные инстинктом стадности революционные движения, всякого рода кампании, легкость их проведения в стране, послушание в идеологической сфере и т. п. Помню один из опытов на внушаемость, который он проводил тут же в аудитории. Он предложил присутствующим стучать руками по столу вслед за ним, но только именно после того, как он стукнет, не раньше. Сперва Александр Петрович стучал неравномерно, затем стал стучать через равные промежутки. Мы втянулись в ритм и, когда он внезапно прекратил хлопать ладонью по столу, многие из нас все же хлопнули, ибо поддались внушению ритма. Меня очень заинтересовала попытка Сухова из особенностей человеческой психологии объяснять события истории.

Естественно возникал вопрос о Сталине. 1929—1930 гг. были первыми годами как-то сразу возникшего культа Сталина. Еще никто не знал, к чему этот культ поведет. Но А. П. Сухов как-то сразу разгадал его бездарность — бездарность самого Сталина и его культа. Захват неограниченной власти он не считал результатом способностей Сталина. Все приемы Сталина, по его мнению, были те же, что и у Ленина. Ленина он считал чрезвычайно ловким и умным захватчиком, быть же вторым после Ленина было совсем не трудно. В Сталине он подчеркивал «вторичность».

Суждения Александра Петровича о людях были всегда удивительно метки. Несколько раз мы с ним гуляли по соловецким дорогам. Он мне рассказывал о

различных типах человеческих характеров и, в частности, о связи характера человека с его телосложением, о теории Кречмера и др. Однажды на прогулке он предложил мне произвести такой опыт: соорудить снежную бабу и посмотреть, как будут реагировать на нее проходящие: если это будет человек пикнического склада — он ее не тронет, если астенического — разрушит. Опыт удался. «Но, — объяснил мне Александр Петрович, — проходили мимо снежных баб неинтеллигентные люди». На интеллигентах эту зависимость поведения от телосложения наблюдать труднее... Хотя, хотя... Г. О. Гордон явный пикник... Конечно, я привожу его рассуждения не дословно: прямая речь в воспоминаниях почти всегда придумана мемуаристами.

Заходил к нам в Крымкаб и Владимир Сергеевич Муромцев — сын первого председателя Государственной Думы. Очень красивый и представительный господин, но предельно скучный и, как мне казалось, бессодержательный. Им интересовались только из-за отца: но А. П. Сухова он интересовал и как психологический тип.

Трудно понять, как, преодолевая все трудности соловецкой жизни, А. П. Сухов писал роман и читал нам уже готовые главы. Ни стола, ни стула, скорчившись на топчане и накрывшись шубой, он записывал отдельные части своей эпопеи, посвященной русской молодежи нашего возраста (достоверно знаю, что главным героем там выступал Володя Раков. Помню, что были в этом романе-эпопее и романтическая любовь, и иподиаконство Володи, и его акварельные альбомы, в которых он давал нам всем другую, вторую жизнь в эпохе Александра I, и трагедия разорения церквей).

А. П. Сухова освободили раньше, чем нас, и он уехал в свои «минусы», выбрав своим первым городом-ссылкой Барнаул.

Сухов не был единственным, кто пытался преодолеть все ужасы лагеря, подпольно занимаясь творчеством. Это было настоящее сопротивление, но не с оружием в руках, а сопротивление творчеством, которого всех нас хотели лишить.

Хотелось своего творчества и потомственным крестьянам. С какой любовью и профессиональным умением строили они бараки Детколонии, возводили сгоревшие шатры на пристенке недалеко от Никольских ворот, ухаживали за коровами. Чекисты делали вид, что приучали заключенных к работе. На самом же деле они отучали от работы, внушали отвращение к труду, заставляли обороняться, сохранять силы, «филонить». «Филонить», «филон», «филонство» — были обычными словами на Соловках среди заключенных, которые постепенно приучались сохранять свои силы, притворяясь работающими. Даже наш «старший» — Иван Михайлович Андреевский придумал работу «по системе Андреевского». На

строительстве Филимоновской ветки, где надо было ломать взмерзший грунт ломами, он учил нас: «Воткните лом в землю и делайте вид, что земля не поддается вашим усилиям». Мы так и делали — пыхтели, притворно вытирали пот с лица и т. д.

Целым праздником для нас было однажды, когда нас вывели в лес собирать чернику. Мы старались ее съесть как можно больше, и добрый крестьянин посоветовал нам «закусывать» ее хлебом. И тогда действительно мы съели ее до боли в животе.

Любопытная деталь, характеризующая А. П. Сухова как человека. Просматривая дела Космической Академии, кружка «Воскресение», А. А. Мейера и «Братства Серафима Саровского» в 1992 г. на Литейном, я натолкнулся и на «дело» А. П. Сухова. Оказывается, Александр Петрович получил свой срок (пять лет) за то, что организовывал помощь (вещами, едой, деньгами) нам после нашего ареста. Он никогда об этом не упоминал, а мы по «законам приличия заключенных» не спрашивали его о причинах ареста.

И о других, взятых по нашему делу, я могу еще добавить, что Валя Морозова, которой было 18 лет, сразу объявила следователю, что ничего не скажет по делу «Братства Серафима Саровского». Люся Суратова, которой было примерно столько же, также твердо отказывалась давать показания, а Боря Иванов просто молчал. В допросе его сохранились любопытные строки. Следователь пишет ему на листе допроса: «Долго ли вы еще будете молчать?» Против этих слов почерком Бори Иванова написано: «Не знаю».

Такие были люди.

### Юрий Алексеевич Казарновский

Среди поэтов на Соловках выделялся тогда еще совсем молодой Ю. А. Казарновский, которого мы все звали просто Юркой — не только по его молодости, но и по простоте, с которой можно было с ним обращаться. У него не было своего поэтического лица, как, скажем, у Кемецкого-Свешникова. Он был поверхностен, но стихи писал с необычайной, поражающей легкостью и остроумием. В одном из номеров «Соловецких островов» можно найти его пародии на Маяковского, Блока, Северянина... В другом — его шуточные афоризмы. И все это на темы соловецкого быта. У него была неиссякаемая память на стихи. Он знал чуть ли не всего Гумилева, тогдашнего Мандельштама, Белого. Вкус у него был, настоящую поэзию ценил и постоянно стремился поделиться своими поэтическими радостями. Ни тени зависти. Просили его почитать его стихи, а он читал кого-то другого, понравившегося ему. Жил он одно время в Кеми и поссорился там с морским офицером Николаем Николаевичем Горским — на романтической почве. Чуть не попал в расстрел осени 1929 г. за свою близость с Димкой Шипчинским.

Некоторые из его пародий были напечатаны в «Огоньке» несколько лет назад, и мне пришлось разъяснять — кому они принадлежат. В виде отклика на мою заметку я получил семь страниц воспоминаний о встречах с ним в 50-х гг. в Алма-Ате, когда он стал уже заядлым наркоманом. Он был, кстати, последним, кто видел О. Э. Мандельштама в лагере в Сучане. Надежда Яковлевна Мандельштам пыталась извлечь из него хоть какие-то сведения о своем покойном муже: тщетно! Юрий Алексеевич не сообщал уже ничего...

А присланные мне воспоминания о нем принадлежат старому математику Глебу Казимировичу Васильеву, и написаны они блестяще. Надеюсь, что он сам когда-нибудь опубликует их. Они описывают встречи с Казарновским в Алма-Ате.

### Духовенство

Начать надо издаleка. Очень трудно вспомнить мне — кто из молодежи и в какой степени был верующим. Все так или иначе причастные к очень небольшому кружку «Братство Серафима Саровского» были верующими. В Космической Академии Наук из девяти ее членов безусловно неверующими были Толя Тереховко и Петр Павлович Машков. Эдуард Карлович Розенберг (мой друг Федя) перешел из лютеранства в православие. Неполный обряд крещения (только миропомазание) был совершен в церкви на Петровском острове ныне причисленным к лику святых зарубежной церковью отцом Викторинном Добронравовым. Брат Эдуарда — Владимир оставался «равнодушным лютеранином», но в общей камере на Шпалерной очень сдружился с отцом Владимиром Пищулиным. Также дружил со священником на Соловках и атеист Толя Тереховко. Отец Александр Филипенко, с которым мы обитали на Соловках в тринадцатой карантинной роте, из всех нас особенно выделял Толю Тереховко и говорил всем нам: «Он сирота». Действительно, отец и мать Тереховки покончили самоубийством, когда он был еще совсем мальчиком. Его сестра покончила самоубийством много позже, во время блокады Ленинграда, а сам он, попав в больницу в Боровичах в первые месяцы войны, заморил себя голодом. Отец Александр словно чувствовал в нем какую-то трагичность и, как я уже сказал, любил его, жалел и не пытался уговаривать его верить в Бога. Если бы отец Александр был настойчив в этом, — он отдал бы себя от Толи.

Был и «особый случай». Сын относительно богатых родителей (так о нем говорили) Боря Иванов, притянутый к нашему делу следователем, хотя он в кружках не бывал, впал на Соловках в религиозное помешательство. Его взял в «послушание» какой-то проходимец, объявивший себя монахом и священником, и «учил» Борю «смирению»: снял с него хороший черный полушубок и отдал ему свое тряпье, отнимал лучшее из посылок, которые он получал от родителей, заставлял его себе служить, сморкаться рукой (чему он научиться так и не смог) и т. д.

Когда этапы их разлучили, Боря Иванов пошел санитаром к больным «азиатским тифом», заразился и умер.

Духовенство на Соловках делилось на «сергианское», принявшее декларацию митрополита Сергия о признании Церковью Советской власти, и «иосифлянское», соглашавшееся с митрополитом Иосифом, не признавшим декларации. Иосифлян было большинство. Вся верующая молодежь была с иосифлянами. И здесь дело не только в обычном радикализме молодежи, но и в том, что во главе иосифлян на Соловках стоял удивительно привлекательный владыка Виктор Вятский (Островидов). Он был очень образован, имел печатные богословские труды, но видом напоминал сельского попа. Встречал всех широкой улыбкой (иным я его и не помню), имел бороду жидкую, щеки румяные, глаза синие. Одет был поверх рясы в вязаную женскую кофту, которую ему прислал кто-то из его паствы. От него исходило какое-то сияние доброты и веселости. Всем стремился помочь и, главное, мог помочь, так как к нему все относились хорошо и его слову верили. Служил он бухгалтером в Соловецком совхозе. Они вдвоем с отцом Николаем Пискановским и уговорили А. Н. Колосова взять меня в Криминологический кабинет, а когда зимой 1929 г. я вернулся из сыпнотифозной «команды выздоравливающих», присылал мне через Федю Розенберга понемногу зеленого лука и сметаны. До чего этот лук со сметаной был вкусен! Однажды я встретил владыку (между собой мы звали его «владычкой») каким-то особенно просветленным и радостным. Это было на площади у Преображенского собора. Вышел приказ всех заключенных постричь и запретить ношение длинных одежд. Владыку Виктора, отказавшегося этот приказ выполнить, забрали в карцер, насильно побрили, сильно поранив лицо, и криво обрезали снизу его одежду. Он шел к нам с обмотанным полотенцем лицом и с улыбкой рассказал, как его волокли в карцер стричь, связали, а он требовал, чтобы сперва обрезали длинную «чекистскую» шинель (на манер той, в которой был изображен на Лубянке Дзержинский) у волочившего его в карцер конвоира. Думаю, что сопротивлялся наш «владычка» без озлобления и страдание свое считал милостью Божьей.

Кстати, именно «владычка» взял к себе в Сельхоз Михаила Дмитриевича Приселкова, когда, вырученный нами из карантинной роты, он отказался работать в Соловецком музее («за занятие историей меня уже сажали...»).

Умер владыка вскоре после «освобождения» в ссылке в Архангельской области, куда был отправлен после лагеря, в крайней нищете и мучениях.

Другим светлым человеком был отец Николай Пискановский. Его нельзя было назвать веселым, но всегда в самых тяжелых обстоятельствах излучавшим внутреннее спокойствие. Я не помню его смеющимся или улыбающимся, но всегда



встреча с ним была какой-то утешительной. И не только для меня. Помню, как он сказал моему другу, год мучившемуся отсутствием писем от родных, чтобы он потерпел немного и что письмо будет скоро, очень скоро. Я не присутствовал при этом и не могу поэтому привести здесь точных слов отца Николая, но письмо пришло на следующий день. Я спросил отца Николая — как он мог знать о письме? И отец Николай ответил мне, что он и не знал, а так как-то «вымолвилось». Но таких «вымолвилось» было очень много. У отца Николая был антиминос, и он шепотом совершал впоследствии литургию в шестой («священнической») роте. Кладбищенская Онуфриевская церковь принадлежала «спецам»-монахам, заключившим трудовое соглашение с лагерем, и была сергианской. Духовенство из шестой роты в нее не ходило. Рассказы о том, что в монастырской церкви служили чуть ли не двадцать епископов, неверны. Разрешение заключенным посещать за пределами Кремля церковь давалось не чаще двух раз в год по предварительной записи. Не знаю, как было до раскола православной церкви, — может быть, и правила посещения были другими. Отец Николай был измучен предшествующими арестами и ссылками, был немогущ и работал некоторое время в сетевязочной мастерской. Изредка приглашал нас, молодежь, к себе в барак, когда получал «рыбку» — знаменитые соловецкие селедки, ради которых и держали в монастыре некоторое количество монахов-рыболовов.

Отец Николай знал, что его жену также арестовали, и очень беспокоился о детях: что если возьмут в детдом и воспитают атеистами! И вот, когда его вывозили из лагеря, в Кемперпункте он стоял в мужской очереди за кипятком. С другого конца к тому же крану подходила женская очередь. Когда отец Николай подошел к крану, он увидел у крана свою жену. Их заслонили заключенные (разговаривать мужчинам с женщинами было строго запрещено), и отец Николай узнал радостную для него весть — детей взяли верующие знакомые. Дочь отца Николая жива, живет в Борисоглебске (Тутаеве). Сын умер.

Жизнь отца Николая была сплошным мучением, а может быть, и мученичеством. Недавно я получил от родных батюшки краткое жизнеописание, написанное просто и фактично. Поразительно похоже по сообщаемым фактам и по стилю на «Житие» протопопа Аввакума.

Лагерное начальство не различало иосифлян и сергианцев — всех равно мучили. Несколько иной была судьба католического священства. За них заступались из-за рубежа, и хотя жили они до середины 1929 г. в той же шестой роте, были освобождены от работ и потом жили на Анзере в плохих условиях, но все-таки все вместе, без «урок». Молодежи вокруг них не было.

### Николай Николаевич Горский

Заходил в Кримкаб и красавец Николай Николаевич Горский — бывший морской офицер, работавший на кирпичном заводе. В свое время он учился в Морском корпусе вместе с будущими писателями Колбасьевым и Соболевым. Первого хвалил, второго бранил. За что, точно не помню. Не буду писать, чтобы не усложнять историю советской литературы неточными сведениями, тем более что и сам Николай Николаевич мог ошибаться. По окончании корпуса Николай Николаевич служил на одном из дредноутов — «Петропавловске» или «Севастополе». При наступлении Юденича дредноут Горского стоял на Неве и был отдан приказ стрелять по расположению войск Юденича, но координаты расположения были даны с опозданием. Юденич уже стал отступать, и несколько тяжелых снарядов попали по наступавшим красным. Разумеется, был «открыт» заговор. Часть команды расстреляли, а Горский, не имевший отношения к артиллерии, получил 10 лет. За точность этих сведений не ручаюсь: в лагере не было принято расспрашивать о «делах» друг друга.

Горский был прекрасно воспитан, а старое воспитание заключалось еще и в том, чтобы уметь вести занимательный разговор и хорошо писать письма. То и другое очень помогало Николаю Николаевичу в жизни. Мы все в Кримкабе охотно принимали Горского и охотно выслушивали его, особенно по темам, в которых сами не разбирались: он был разносторонне образован, интересовался всем.

На своем кирпичном заводе Горский жил семейной жизнью с какой-то, как он ее называл, «воровочкой». Когда десятилетний срок его подходил к концу, он стал пользоваться большим доверием начальства, как заключенный, которому нет смысла бежать, и ему поручили командовать небольшим суденышком «Пионер». Кстати, его однодельцу Пуаре дали большой буксир «Нева», которым он продолжал управлять уже освободившись, пока его «Нева» не опрокинулась на крутой волне и он не погиб вместе со своей огромной любимой собакой, охранявшей его от команды, состоявшей из уголовников.

На своем «Пионере» Горский часто бывал в Кеми и женился там на сестре жены Юрия Михайловича Айзеншток-Камбулова — вернувшегося в Советский Союз бывшего секретаря Маклакова в Париже. Камбулов — это приставка к его фамилии, когда он женился на Камбуловой, настоящая же его фамилия только Айзеншток. Это был крещеный еврей и, как он уверял, дворянин (единственный случай в своем роде). Он был необыкновенной красоты. Глядя на него, казалось — такого не бывает. Слушать его рассказы о его любовных похождениях в Париже было совершенно невозможно из-за их циничности. Впрочем, он не заслуживает подробного рассказа, поэтому возвращаюсь к Горскому.

Женившись в Кемии на сестре жены Айзенштока, Горский ушел в рейс и сделал так, что застрял на своем «Пионере» с женой во льдах где-то около Муксалмы — тем самым он увеличил себе отпуск, полагавшийся по лагерным правилам молодоженам.

После уже он ходил вокруг Кольского полуострова в Мурманск, и команда уголовников подняла против него бунт: донесли на него, что он хочет увести суденышко в Норвегию. Горский оправдался, что было в тех условиях далеко не просто.

Одним словом, поговорить с ним, когда он приходил к нам в Кримкаб, было о чем.

В дальнейшем я с ним постоянно встречался — и до войны, и после. Об этом потом.

### Георгий Михайлович Осоргин

Зрительная память хорошо сохранила мне внешность и манеру держаться Георгия Михайловича Осоргина. Среднего роста блондин с бородкой и усами, всегда по-военному державшийся: прекрасная выправка, круглая шапка чуть-чуть набекрень («три пальца от правого уха, два от левого»), всегда бодрый, улыбчивый, остроумный, — таким он запомнился мне на всю жизнь. С ним была связана и распространенная потом в лагере шутка: на вопрос «как вы поживаете?», он отвечал: «А лагерь ком а лагерь», переиначив известное французское выражение «а la guerre comme a la guerre» («на войне как на войне»). Он работал делопроизводителем санчасти, и я его часто встречал снующим между санчастью и зданием Управления СЛОН на пристани, на дорожке между кремлевской стеной и рвом. Он многое делал, чтобы спасти от общих работ слабосильных интеллигентов: на медицинских комиссиях договаривался с врачами о снижении группы работоспособности, клал многих в лазарет или устраивал лекпомами (лекарскими помощниками, фельдшерами), для чего нужно было иногда знать только латинский алфавит и отличать йод от касторки: медицинского персонала и лекарств в лагере не хватало, — был даже такой случай, когда лекпом, желая лучше вылечить одного заключенного, обмазал все его тело йодом, и тот умер. Осоргин был глубоко религиозным человеком, записывался на Рождество и на Пасху в ИСЧ (Информационно-следственной части) для получения пропуска на богослужение в церкви (записавшихся строем водили в кладбищенскую Онуфриевскую церковь, оставленную для нескольких монахов-рыболовов). Церковь была сергианской, и подавляющее большинство заключенного духовенства в нее не ходило, не записывалось на ее посещение.

Осенью 1929 г. перед известным расстрелом 28 октября его забрали в карцер, но по обычной лагерной неразберихе к нему на свидание приехала жена, и в

Кеми это свидание было ей разрешено. А дело было, очевидно, в том, что инициатива ареста Георгия Михайловича принадлежала островному начальству — именно они его ненавидели, их раздражала независимость, бодрость, несломленность. Начальство на Острове не согласовало своего намерения расстрелять Георгия Михайловича с начальством на материке.

Все мы в Криминологическом кабинете были крайне взволнованы арестом Георгия Михайловича, и вдруг я встречаю его на дорожке вдоль кремлевской стены под руку с дамой чуть выше его ростом, элегантной брюнеткой, и он представляет ее — жена, урожденная Голицына. Ничто в нем не говорило о том, что он только что выпущен из карцера, — бодрый, веселый, чуть ироничный, как всегда. Оказалось потом, что начальство, смущенное приездом жены на свидание по разрешению более высокого начальства, выпустило Осоргина под честное слово офицера на срок чуть меньший (меньше оставалось дней до назначенного расстрела), чем полагалось для свидания, с условием, что он ничего не скажет жене о готовящейся ему участи. И Георгий Михайлович слово сдержал! Она не знала о том, что он приговорен к смерти островными начальниками. Вернулась в Москву и уехала вскоре в Париж (тогда любому советскому гражданину можно было купить за валюту паспорт).

О расстреле Георгия Михайловича я рассказал его сестре Софии Михайловне в Оксфорде в 1967 г., куда я ездил для получения почетной степени доктора Оксфордского университета. Софья Михайловна и вдова Георгия Михайловича, вторично вышедшая замуж в Париже, были убеждены, что Георгий Михайлович умер своею смертью.

София Михайловна в Оксфорде дала мне на память копию письма Георгия Михайловича из тюрьмы, написанного родным на Пасху.

Мое свидание с Софией Михайловной в Оксфорде не обошлось без некоторой неловкости. Я говорил Софии Михайловне, что Георгия Михайловича уважали даже уголовники, и рассказал о случае, о котором говорил мне сам Георгий Михайлович. В один из промежутков между своими многочисленными пребываниями в московских тюрьмах он ехал однажды в трамвае и встретил карманника, с которым как-то сидел. Карманник спросил его, как он живет. Георгий Михайлович сказал, что женился. Карманник поздравил его, обнял, а когда Георгий Михайлович вернулся домой, то обнаружил у себя в кармане золотые часы. Зная любовь уголовных ко всякого рода «форсу», я ничуть не удивился рассказу Георгия Михайловича. Но на Софию Михайловну в Оксфорде этот рассказ произвел неприятное впечатление. Она запротестовала: «Этого не могло быть!» Тщетны были мои попытки объяснить, что Георгий Михайлович ничуть не был виноват в случившемся и, наверное, распорядился затем «подарком» с какою-нибудь благотворительной целью.

### **Александр Елеазарович Македонский**

Так называла его вдова, с которой я только год назад познакомился. А мы звали его Александр Лазаревич Македонский или совсем просто Александр Македонский. Это был удивительный человек. Он рассказывал, что был в черных гусарах у Колчака, и этим, а, может быть, еще и своей фамилией, вызывавшей к нему сразу же любопытство, он был «ушиблен» на всю жизнь.

Он все время ощущал себя черным гусаром, носил черные галифе и высокие щегольские сапоги. Постоянно смотрел вниз на свои ноги, но не потому, что любовался начищенными голенищами и отлично сшитыми галифе, а из-за того, что был чрезвычайно близорук и боялся споткнуться. Под конец жизни, как рассказывала мне его вдова, он совсем ослеп. Как он мог стать гусаром, непонятно, но все ж таки это был факт. И напевал он себе под нос известную в то время песенку: «Марш вперед, всегда вперед, черные гусары», — и этим поднимал себе настроение, в чем нуждался, ибо был он великий пессимист и всегда видел впереди только худшее из возможного.

Впрочем, он писал стихи и этим утешался. Поэзия была его единственным стимулом к жизни. С ним было просто беседовать. Иногда только в середине разговора прорывалось: «А там чуть подняв занавеску...» или «лишь пара голубеньких глаз...» Но нить разговора он не терял. Загадочный человек. И почему он попал к Колчаку? Я стеснялся его об этом спросить. Лошадей он любил, по лошадям скучал.

### **Эдуард Карлович Розенберг**

Моим самым большим и, пожалуй, единственным настоящим другом был Эдуард Карлович Розенберг. Самый жизнерадостный и веселый человек, которого я только знал.

Он был среднего роста с большой головой и большими ступнями ног, на которых помню как характерную деталь остроносые туфли модного в 20-х гг. фасона «джимми». Само собой разумеется, этих туфель не было в лагере, но в чем он там ходил — не помню (я запоминаю только характерное). А на большой голове с большим умным лбом лицо излучало с трудом сдерживаемую улыбку. Он улыбался не только губами, но всем лицом, а губы он, напротив, сдерживал, чтобы унять улыбку, и было такое впечатление, что он улыбается с набитым ртом — набитым смехом, готовым прорваться. Он был великим мистификатором, создателем нашей второй жизни в Космической Академии — с гимном, гербами, тросточками, штрипками на брюках, совместными прогулками, культом пушкинского Лицея. Один из наших «конференц-залов» и помещался на Лицейской улице, а обещать друг другу вечную дружбу мы ходили на Парнас в Александровском

парке в Царском Селе, где у нас был на самой вершине заветный пень столетнего дуба. Он изучал самостоятельно латынь и греческий (ему помогал Андрюха Миханьков), легко знакомился, легко переносил тяготы своей неустроенной жизни, а тягот у него было много, и наиболее тяжелая — нараставшая глухота. Глухота! — это ему-то с его общительностью!

Сам он был из Петергофа. Отец его был директором императорской аптеки, типичный немец — полный, аккуратный, спокойный, как и многие аптекари. Мать — финка, — сперва лютеранка, потом перешла в православие. Эдуард не был похож на немца — разве только своей необыкновенной, чисто немецкой, аккуратностью. Зато его старший брат Вольдемар (Володя) был немцем и по внешности, и по привычкам. Был брат заядлым яхтсменом, что позволило ему стать перед арестом преподавателем парусного дела в каком-то мореходном училище.

Вольдемар был любимцем отца. Федю отец не любил, и когда после 1917 г. аптека из «императорской» стала заурядной, городской и у отца убавилось жалованья, Феде пришлось, еще учась в Петергофской гимназии, зарабатывать на жизнь ночными дежурствами на телеграфе. Жизнь осложнилась еще ссорами отца с матерью, которая перешла в православие. Федя (я потом объясню — почему я его называю Федей, а не Эдей) любил отца, но больше любил мать, понимал ее несчастье. По окончании гимназии, ставшей «единой и трудовой» советской школой, Федя нанял с братом две комнаты в Ленинграде на Зверинской улице и стал работать в Финансовом управлении на Канале Грибоедова (не знаю точно названия института, помещавшегося в здании б. Государственного банка). В свободное время он ходил на лекции и заседания в Институт истории искусства на Исаакиевской площади. Именно в этот период (примерно в 1926 г.) по его идее и его инициативе стала организовываться Космическая Академия Наук — шуточный кружок восьми друзей, к которым присоединился я уже в 1927 г. С этого года я начинаю счет нашей дружбы.

Сам он занял в КАНе «скромное» место секретаря византийского государства, хранителя хартий — «хартофилакса». Не исключено, что в этом он иронически передразнивал государственную и партийную организацию нашего Союза.

До нашего ареста он заходил ко мне редко, так как мы жили в доме Первой государственной типографии (теперь — «Печатный Двор») и вход к нам был связан с оформлением пропусков.

Веселые люди часто бывают поверхностными. Федя не был поверхностным. Он в высшей степени серьезно относился к своей и окружающей жизни, любил помогать. Его касались все мелочи. В частности, когда я стал семейным человеком, он очень хотел, чтобы мы пожили на даче в обстановке немецкого



дома, подыскивал нам дачу в немецких домах Старого Петергофа в Луговом парке. Мы с Зиной ездили смотреть одно из таких предложений: большую гостиную комнату, полную вышивок, занавесочек, тарелочек с видами Петергофа и Германии; и столетний попугай, который говорил по-немецки и должен был оставаться жить с нами. Другой раз мы ездили с ним и с Михаилом Ивановичем Стеблин-Каменским в Новгород. Ездили на моторной лодке Фединого приятеля в Новгороде к Николе Липному, в Хутын, ходили в Волоотово, в Юрьев монастырь. У Феди к тому времени был уже фотографический аппарат. Он много снимал, инсценировал сценки нашего «пьянства» (на самом деле в кружках у нас было молоко).

Я все мечтал, чтобы он покатал нас на яхте в Петергофе, но так он и не успел этого сделать.

Ходил он на заседания Хельфернака к Андреевскому, а в дальнейшем и на два-три заседания «Братства Серафима Саровского». Его мать, перешедшая в православие, к этому времени умерла, и он тяжело переживал свое сиротство. На похоронах матери произошла ссора между православным священником и лютеранским пастором — кому отпевать. Формально должен был священник по православному обряду. Так в общем это и было сделано. Естественно, что Федя интересовался вопросами веры, к тому же в период усилившихся гонений на церковь. В 1927 г. Федя решил принять православие. Для этого не надо было креститься вновь, достаточно было совершения чина миропомазания. Ясно помню его в церкви Дома для престарелых артистов на Петровском острове, где служил всеми нами любимый отец Викторин, причисленный к лику святых зарубежной церковью после своей мученической кончины в Сибири. Федя страшно волновался, не мог расшнуровать ботинки, чтобы отец Викторин помазал миром его ноги. Имя Федор ему было дано случайно самим отцом Викториним. Мы звали его тогда Эдей, а отцу Викторину посылалось Федя. Имя Федор необыкновенно подошло к Эдуарду. Не знаю почему. Федя усердно посещал православные службы, знакомые ему с детства. Всегда искренний до предела, он не скрывал своего перехода в православие на службе. Софья Марковна Левина, его сослуживица, охотно перепечатывала для Братства все церковные материалы — в частности, и «Послание соловецких епископов», направленное против угоднической политики митрополита Сергия.

На Соловках мы с Федей жили вместе в соловецком кремле, сперва в одних ротках (13-й, 14-й и 3-й), а потом и в одной камере. Он рано уходил на работу и поздно возвращался. Я тоже много работал. Случалось, что мы не виделись друг с другом по несколько дней. Мы берегли время, чтобы спать. Приходилось

переписываться друг с другом, и Федя всегда находил оригинальные способы этой переписки. То он, возмущенный моей неаккуратностью, писал на оставленной немойгой моей эмалированной кружке прямо по налету от какого-то плохого чая: «Моется только чаем». То я получал приколотую к одеялу записку в стихах. Начало одного стишка я помню: «Отощавши вовсе животишком, одолжить прошу одним рублишком...» Дальше следовало какое-то шуточное продолжение. Федя работал под началом главного бухгалтера Соловецкого сельхоза владыки Виктора Островидова, которого он ласково называл «владычкой» и который отвечал Феде тоже любовью. Иногда «владычке» удавалось выписать Феде зеленого лука или немного сметаны. Федя неизменно делился этим и со мной, и с некоторыми другими обитателями нашей камеры. До сих пор мелко нарезанный зеленый лук со сметаной кажется мне царским блюдом.

### Бардыгин

Я не помню ни его имени, ни отчества. Жил он в 4-й роте, которая углом примыкала к моей 7-й. Работал на какой-то канцелярской должности, отнимавшей у него много времени. Вечерами он писал — в людной комнате на своем топчане, служившем ему не только постелью, но и письменным столом. Помню его серое одеяло, его многолистную рукопись. Его философских рассуждений я не понимал, но понимали Мейер, Гордон. Они с глубоким уважением относились к нему, годившемуся им в сыновья. Куда и когда он исчез из четвертой роты, не знаю, не помню. У него было очень бледное лицо и какой-то особенный взгляд. Он совершенно не интересовался политикой, не жаловался, никого не бранил. К происходящему вокруг относился с полным равнодушием. Сейчас, вспоминая Соловки, я прихожу к выводу: среди всех думавших людей он был самым независимым от внешних обстоятельств. Если бы пришлось мне назвать людей, крепче всех сопротивлявшихся не только советской власти, но просто «духу времени», то это был Бардыгин. Все мы в той или иной мере были сломлены — и Мейер, и Андреевский, и Сухов, и Колосов. Мы были сломлены хотя бы потому, что значительную часть своей духовной жизни посвящали отстаиванию своего права мыслить по-своему, — мы возражали, возмущались и т. д. Мы были диссидентами тех времен. Бардыгина же ничто не касалось. Он был целиком погружен в свой философский и религиозный мир. Он не устаивал своим вниманием ни то, что с ним происходило, ни тех, кто мешал жизни его внутреннего мира.

Всякий борющийся за свою независимость уже тем самым зависим. Для Бардыгина же просто не существовало ничего, что было вне его исканий, и его общение с окружающими его философами и духовными лицами не выходило за рамки его внутреннего мира. Он был непобедим, а поэтому, мне кажется, более всего опасен для властей.

### Владимир Юльянович Короленко

В 1931 г. на горизонте Кримкаба появился Владимир Юльянович Короленко. Передо мной стоит лицо — чуть ироническое, готовое к общению, но далеко не полному. Характерный рот, который напоминал мне нос лодочки или горлышко сосуда, готового пролиться каким-нибудь интересным рассказом, — рассказом, но не беседой, не душевными размышлениями. Была в нем какая-то невидимая стена, за которую он не пускал к себе собеседника. В сущности, знали мы о нем только два факта: что приходился он писателю В. Г. Короленко племянником и что был он по профессии юристом. На левой руке у него не хватало безымянного пальца, и вся кисть левой руки от этого была очень выразительной: клешня? Когда он что-нибудь рассказывал из своего адвокатского опыта и, жестикулируя, опускал левую руку, — это означало, что он ставил окончательную точку в своем рассказе. А рассказы его всегда имели заключение: вероятно, подводить заключение — адвокатская привычка. В Кримкабе он чаще всего забегал к Юлии Николаевне Данзас. Эти два скрытных человека находили общие точки общения в какой-то верхней, «светской» части. Ю. Н. Данзас была рада ему, ибо чувствовала себя с ним спокойно — он не растревожит в ней того, к чему ей не хотелось допускать собеседника и куда постоянно пытался по своей невоспитанности забраться Володя Раздольский.

Ко мне Владимир Юльянович питал дружеские чувства. У него тоже, как и у меня, был пропуск «по всему острову», и он часто сговаривался со мной на совместные прогулки. Чаще всего мы ходили с ним по Савватиевской дороге. Зимой он носил серую каракулевую ушанку не совсем обычного фасона. Никто другой, казалось, не мог иметь такой. Она была частью его личности. Странно? Но это так.

Он тоже любил мальчишеские забавы. Я, вспоминая свое детство на Финском заливе, любил «печь блины» плоскими камушками. И мы соревновались с ним — кто больше их выпечет. Не помню — кто из нас побеждал в этом занятии. Ему было лет 50, не меньше, но ловкости в этом занятии было немало. Помню один вечер на Савватиевской дороге. Мы дошли до ближайшего тихого, скрытого от ветра густым лесом озера. Была поздняя осень. Вода покрывалась тонким льдом. Темнело. Ледяная поверхность казалась черной. Если пустить камешек по поверхности льда, он скользил по ней необыкновенно далеко, исчезал бесследно. Мы увлеклись этим занятием, а когда почти совсем стемнело, стали бросать камни вверх. Они падали отвесно вниз, пробивали лед. Подо льдом образовывался белый пузырь воздуха,

который начинал уходить от берега, пока не исчезал, достигнув чистой воды. Это было волшебство успокоения. Казалось, что мы освобождаем эти белые существа, образовывавшиеся под черной поверхностью молодого льда. Вернулись мы в Кремль совсем поздно, вопреки всем правилам, предоставившимся нам нашими пропусками, но часовой в черных обшлагах рукавов, черном воротнике на шинели и с черным околышем на фуражке оказался к нам милостивым. Счастливая прогулка и закончилась счастливо: нам не пригрозили карцером...

У Владимира Юльяновича приговором был расстрел с заменой десятью годами. Поэтому он не подлежал вывозу с Соловков. Меня же стали требовать друзья в Медвежью Гору как «незаменимого» счетного работника, в которых была большая нужда.

Мы решили увековечить свое пребывание на Соловках. Короленко достал молоток и зубило, и мы отправились в лес по Муксаломской дороге искать подходящий камень, чтобы выбить наши фамилии. Камень нашли направо от дороги. Местность была холмистой. Холмы были длинные, и между длинными холмами тянулось длинное узкое озеро. На самой высокой точке одного из холмов лежал валун. Помнится, в длину метра три-четыре (это очень приблизительно), а в высоту достигавший наших плеч (это уже более точно). Мы стали выбивать наши фамилии. Работа была тяжелой. Были мы там дважды. Успели выбить: «Корол» — сверху и «Лихач» снизу — величина букв примерно с ладонь.

Когда в последний раз я вернулся в Кремль, я узнал, что меня вызывают на этап. На этот раз удачно: меня вывезли в Кемь. У меня уже был изготовлен «чемодан» — из фанеры, обтянутой краденой простыней, и покрашенный в коричневый цвет. Чемодан оказался очень прочным. Он сохранился у нас и после блокады, служба моей матери.

Очень я жалел, что не удалось нам добить наших фамилий, и просил закончить работу Владимира Юльяновича. Впоследствии он сообщил мне через кого-то на Медвежью Гору, что надпись закончил.

А на Медвежьей Горе мне рассказали, почему у Владимира Юльяновича нет пальца. Он сам отрубил его, раскаиваясь в том, что на следствии кого-то оговорил, или что-то подписал, или как-то иначе вел себя недостойно. Вот почему он был замкнут и часто повторял, что по освобождении будет добиваться службы смотрителем на маяке вдали от людей...

Что бы там с ним ни было, мне его очень жаль, и я благодарю его за то, что в моем обществе он находил некоторое утешение...

### Несколько отрывочных воспоминаний

Не подумайте, что Крымкаб, Музей и Солтеатр были единственными местами, где встречались для мировоззренческих разговоров соловецкие заключенные. Познакомился я с молодым человеком (лет 25) Чеховским (забыл его имя и отчество), работавшим на Сортоиспытательной станции (теперь на этом месте аэродром). Он пригласил меня к нему зайти. Было это летом 1929 года. Я поднялся к нему на второй этаж, и за чаем из каких-то листьев он неожиданно спросил меня, как я отношусь к масонству. Я ответил, что знаю о нем очень мало. Он пригласил приходиться, чтобы узнать больше, но я, к счастью, отказался.

В разгар создания якобы существовавшего на Соловках заговора «с целью захвата Соловков и последующего свержения советской власти в стране» осенью 1929 г. я встретил между Никольскими и вторыми воротами партию «заговорщиков», которых бегом гнали с допроса в здании УСЛОНа назад в карцер. Конвоиры кричали, щелкали затворами, приказывали всем встречным не двигаться. И вдруг один из гонимых, в котором трудно было узнать еще молодого человека, поздоровался со мною одними глазами. Меня осенило — это Чеховский. Я снял свою студенческую фуражку и низко поклонился ему вслед. Видимо, донесли. Именно этому я приписываю запись на моем деле: «Имел связь с повстанцами на Соловках».

В моих записках, которые я начал делать на Соловках, написано, что где-то около той бухты, у которой меня ловил Дегтярев, находятся могилы «оперированных», т. е., по соловецкой терминологии тех лет, расстрелянных поодиночке. «Операции» происходили днем, жертве сцепляли руки сзади проволокой, быстро два охранника волокли под руки под колокольню (все движение людей на это время во дворе Кремля приостанавливали), две «маслины» (пули) на каждого расстреливаемого, потом приезжала лошадь с ящиком, грузили мертвецов и вызывали женщин мыть лестницу, ведущую вниз, и все остальное. Понурая лошадь везла трупы в сторону «Переговорного камня». И все!

Запомнилась фамилия командира особого отряда, производившего одиночные расстрелы шпаны, — Чернявский, с тяжелым голосом и в щегольских сапогах. Им, между прочим, был расстрелян и мальчишка лет тринадцати, с которым не смогли справиться охранники.

В записях у меня еще значится: «Дело “соловецкой промпартии”. Подделка талонов сухопайщиков. Добавка Гессену: расстрел. Мои покупки с Раздольским сухого пайка. Скрывали в роте. Жарили рыбу на постном масле. По жребию тянули, я ходил получать. Интерес в роте. Запах у Квасоваренного корпуса затхлой рыбой». Сейчас я уже не могу расшифровать точно все, что здесь, в этой

записи, значит, но видно, что мы очень рисковали «попасть в ящик», не зная точно — поддельные наши талоны на сухой паек или настоящие. Но голод вынуждал нас идти на риск. О «запахе» затхлой рыбы могу сказать только, что чаще всего кормили нас испорченной треской. Об этом пелось и в «Соловецком обозрении» Бориса Глубоковского:

*Соблюдая кодекс трудовой,  
Охраняет нас милый конвой,  
И от нежной, душистой трески  
Соловчане не знают тоски.*

Тоска от однообразной и грубой пищи была действительно невыносимой. Случалось, и рвало.

Наряду с православным духовенством в 1928—1929 гг. в шестой роте было довольно много ксендзов. В отличие от православных священников им разрешалось служить в камере, а потом предоставили для службы часовню Германа в лесу. Многие из них работали в прачечной, где они командовали прачками — в основном проститутками. Держались они с большим достоинством, и проститутки их уважали. В 1929 г. им предоставили статус политзаключенных и освободили от работы. По этому статусу жили и анархисты на Большом Муксаломском острове в относительно сносных условиях, а ксендзов отправили жить на «командировку» Троицкая, что на Анзере. На Анзере я был, собирая подростков в Трудколонию, и, проходя мимо их обиталища, встретил ксендзов, везших в телеге бочку с водой. Они обслуживали сами себя.

О ксендзах в России, в Сибири и на Соловках довольно много написано в книге, уже упоминавшейся выше, диакона Василия ЧСВ (фон Бурмана) со слов Юлии Николаевны Данзас. Их обособленное существование делает их мало интересными для моих воспоминаний. Отмечу только то, о чем не говорит Данзас, — положение на Соловках католического духовенства было значительно лучше православного. Считалось, что русское духовенство имело право ходить в монашескую Онуфриевскую церковь по особым спискам, заготовлявшимся заранее в Адмчасти. Ходили в Онуфриевскую церковь только те заключенные, которые, не очень разбираясь в церковных делах, просто не могли обходиться без церковной службы. К таким принадлежал, между прочим, и Георгий Михайлович Осоргин, друживший, впрочем, с владыкой Виктором Островидовым...

Даже находясь в относительно сносных условиях в Кремле, в каменных помещениях, оставленных нам монахами, мы постоянно испытывали беспокойство. Информационно-следственная часть (ИСЧ) все время создавала разные дела: политические и уголовные. Людей забирали за лишний кусок хлеба, за «невыход



на работу», за отказ спиливать кресты на кладбище под бравурные звуки духового оркестра «музыкантской команды» 7-й роты. Когда я болел (это случалось, слава Богу, редко), можно было с ума сойти от полковых маршей, самозабвенно репетировавшихся бывшими офицерами царской армии.

Летом шли этапы — то на материк, то вглубь острова или на другие острова: Муксаломские, Большой Заяцкий, Анзер. Я держал вещи наготове, так как время на сборы не давалось. Кричали «Вылетай пулей с вещишками» и медливших били «дрынами» (палками для битья). На всякий случай научился быстро одеваться, для чего, ложась спать, оставлял кальсоны в брюках, рубашку в толстовке. Главное внимание — портянкам, надо было правильно надеть их без натирающих ноги складок.

Постоянное беспокойство быть вызванным на этап ослабевало только с закрытием навигации. Ослабевали тогда и внутриостровные перемещения.

### **Отъезд с Соловков**

Летом 1931 г. начался вывоз «рабсилы» из Соловков на неофициально начавшееся строительство Беломоро-Балтийского канала. При отправке учитывалось — сколько осталось до конца срока. С Соловков уехали Владимир Раков, Федя Розенберг и многие другие. Меня не трогали. Не было уже к тому времени ни А. А. Мейера, ни К. А. Половцевой, ни А. П. Сухова. Жизнь стала очень тоскливой. Вывезли даже колонию малолетних преступников. Исчез как-то Иван Яковлевич Комиссаров — король урок на Соловках, впоследствии оказавшийся воспитателем в известной Колонии для малолетних преступников в Болшеве.

Федя на Медвежьей Горе оказался сразу на хорошей счетной должности, так как нужда в квалифицированных бухгалтерях в лагерях всегда была острой. Он слал мне вызов за вызовом как «крупному специалисту-бухгалтеру», чтобы вести главную картотеку Беломорстроя. Меня стали вызывать на этап. Внизу в музыкантской команде вызвали ехать вместе со мной трубача Владимира Владимировича Олохова — бывшего полковника Семеновского полка. Музыканты провожали Олохова торжественно. Произносились речи, сыграли марш «Старые друзья» (так, кажется, назывался марш, который был одним из популярных маршей старой армии, но под другим названием). Единственную на Соловках лошадь, которая возила трупы, запрягли, и она повезла наши пожитки (были и другие отправляемые). Корзины к этому времени у меня уже не было (украли), а приготовлен был фанерный чемодан. Чемодан оказался таким прочным, что он не разбился, когда упал с самой верхушки воза. Нас привели в карантин, раздели, посадили голыми в Бане № 2 ждать, когда вернут из вошебойки нашу одежду. Ждали несколько часов. Из музыкантской команды принесли нам еду. К вечеру объявили: «Назад

по камерам». Мы прожили две недели (примерно), и снова вызов, снова речи (но уже покороче), и снова марши. Снова баня, и снова команда: «Назад по камерам»: ИСЧ (Информационно-следственная часть) нас не пускала.

Я рассказывал уже выше, как мальчик из ИСЧ пригласил меня вечером и показал мне мое дело, поверх которого стояла надпись: «Имел связь с повстанцами на Соловках».

По третьему вызову, на который мы с Владимиром Владимировичем отправились уже без речей и маршей, нас все-таки отпустили на материк. С Владимиром Владимировичем Олоховым я впоследствии встретился в Ленинграде на Каменноостровском проспекте. Его вел под руку молодой человек. Владимир Владимирович был совершенно слеп. Жена его умерла, он жил у дочерей. Дочери перед самой войной, когда изменилось отношение к русской армии, вернули хранившееся у них знамя Семеновского полка. Его спас Владимир Владимирович в 1917 г., когда произошел развал армии. Владимир Владимирович обмотал его вокруг себя и вывез с фронта: так он мне рассказывал.

Снова пароход «Глеб Бокий», но уже не загоняли в трюм: народу было сравнительно мало. Передо мной разворачивалась панорама Соловков с Секирной горой. Мы проехали мимо Кузовов, на которые я обычно смотрел, поравнявшись со Сторожевой башней, когда шел на работу. Два или три раза я видел миражи с этими островами: они поднимались над горизонтом и казались ближе, чем были на самом деле.

В Кеми пришлось ночевать на Вегеракше (как объяснили мне, название это означало по-фински «жилище ведьм») — в страшном месте — по чинившимся там беззакониям. Утром нас посадили в классный вагонзак с полками в три этажа. Я залез на самую верхнюю, чтобы спать... Утром через сутки нас привезли в Медгору.

Медвежья Гора встретила нас солнцем, которого мы давно уже (с лета) не видели на Соловках, и чистым, только что выпавшим первым снегом. Я был в счастливейшем настроении. Именно в этот день я пережил ощущение освобождения. Оно не повторилось, когда в 1932 г. 8 августа я был и в самом деле освобожден.

Нас привели в лагерь около Онежского озера, построили на площади среди бараков, и вдруг я услышал приветливый женский голос, который выкликнул: «Дима Лихачев!» Услышать такой вызов из этапа в лагере, я думаю, редко кому удавалось. Это была подчиненная Феди Розенберга, который позвонил в лагерь из Управления строительством и велел отвезти меня в барак. Мне дали верхнюю полку на нарах «усовершенствованной» вагонной системы, но как раз под трубой от времянки; трубу этой времянки в холодные ночи раскаляли так, что она



Впоследствии, когда я приезжал в Медгору со Званки (о ней я расскажу дальше), я видел на «пляже» у Онежского озера «песенника» Альмова, писавшего в лагере стишки, прославлявшие строительство. Его не любили и дразнили: «Канал — аммонал, Сорока (город, переименованный потом в Беломорск) — построим до срока»: рифмы, наиболее расхожие в бодрящей «поэзии» каналаармейцев, как себя называли наиболее «перековавшиеся» заключенные.

Помню тяжелую ночь на 1 января 1932 года. Счета в нашей картотеке не сошлись на 1 рубль. С финансовыми отчетностями было строго. 1 января мы должны были представить отчетность за прошедший год, а рубля в документах нет! Мы его искали до утра и в конце концов нашли.

На Медгору приехали ко мне на свидание родители. Было чрезвычайно трудно найти комнату. В конце концов нашли хозяев, которые согласились, чтобы мы ночевали у них на полу. Медгора была до ужаса переполнена. Брат хозяина, вечно пьяный, приставал к моему отцу: «Ты офицер. Я сразу вижу. Я этих офицеров...» Мы с отцом ночью уходили из комнаты, а он пьяный шел за нами и бубнил свое. В общем, положение становилось опасным. Моим родителям пришлось уехать на 2—3 дня раньше окончания срока свидания.

### **Званка и Тихвин. Освобождение**

Вторая половина моего пребывания на Беломоро-Балтийском канале связана с Дмитрием Павловичем Каллистовым.

Осужден он был по делу КАН на 5 лет, хотя мы его в КАН не принимали. Он прочел в КАНе вступительный доклад, но от приглашений посещать заседания мы воздержались. Вместе с нами он был отправлен на Соловки, но пробыл на острове не более недели: с последним паромом его вывезли в Кемь, где он устроился работать в Управлении Соловецких лагерей, а вскоре получил разрешение жить на частной квартире. Это представлялось делом его энергии и ловкости.

Когда я попал на Медвежью Гору, он уже работал диспетчером Белбалтлага на станции Званка рядом с Ленинградом. В обязанности диспетчера входило распределение грузов (но не людей!), шедших в адрес строительства по станциям, которые были указаны в разрядках с Медвежьей Горы (из Управления строительством). Диспетчер просматривал все документы, сопровождающие товарные поезда, и писал станции назначения на тех из них, где было обозначено лишь в общей форме «Беломоро-Балтийское строительство». Это были аммонал (сильное взрывчатое вещество), провиант, фураж и — редко — строительные материалы.

Дмитрий Павлович работал на Званке вместе со вторым диспетчером — американским подданным, имевшим 10-летний срок за валютные операции, Оскаром Владимировичем Гилинским.

Со Званки Дмитрий Павлович изредка приезжал в Медгору в Управление получать инструкции и разнарядки. Через третьих лиц он узнал у меня, готов ли я переехать работать на Званку. Я не очень точно представлял себе характер работы, но меня соблазняла близость к Ленинграду, к родителям, возможность чаще их видеть и, самое главное, — отсутствие лагерного режима. В те времена чем ближе к окончанию был у заключенного срок, тем менее строги были меры его «охраны». Пребывание на Званке в условиях относительной свободы казалось мне тогда вполне реальным.

Прошло довольно много времени (наверное, не меньше месяца), как вдруг меня разыскали и сказали, что приехал со Званки Каллистов и просит меня как можно скорее собираться с вещами. Я бросился бриться и от волнения порезал себе лицо. Увидев меня в таком виде, Каллистов засмеялся: он был доволен.

На Званке Дмитрий Павлович устроил меня жить там же, где жил и сам: в маленькой избушке у одинокой старушки Матрены Кононовны, недалеко от Волхова. Там у меня была постель с мягкой периной и мягкой подушкой за занавеской в комнате, служившей столовой. Я спал там и днем после ночных дежурств на вокзале. Наш третий диспетчер — О. В. Гилинский — снимал за доллары целую квартиру недалеко от станции. Видел я его редко: он ездил со Званки не только в Ленинград, но и в Москву. Все дежурства на станции несли мы с Дмитрием Павловичем вместе. Беда (для меня) была в том, что и Дмитрий Павлович часто уезжал к жене в Ленинград, и тогда мне приходилось дежурить целыми сутками. А работа была напряженная. Рабочий стол наш находился в одной комнате с маневровым диспетчером. Званка была крупным железнодорожным узлом, где шло реформирование товарных поездов. У маневрового диспетчера было большое табло, на котором были обозначены пути, на которых выставляли условными обозначениями составы поездов. В диспетчерскую в клубах морозного пара непрерывно вваливались закутанные до глаз «главные кондукторы», ехавшие на открытой площадке последнего вагона. Из тяжелых сумок они выкидывали на стол маневрового диспетчера документы на каждый вагон, и надо было вместе с маневровым, торопившим нас, все пересмотреть и указать соответствующие лагерные разнарядки и адреса. Работа требовала исключительного внимания, а к 5 часам утра внимание обычно ослабевало; я спал не только сидя, но даже стоя. Однажды я пропустил целый поезд с несколькими вагонами, отправленными без адреса. Ошибка могла стоить мне нового срока. Но обошлось...

Не без страха вспоминаю, как я лазал под вагонами, чтобы сократить расстояние до стоявшего где-нибудь на 21-м пути состава, чтобы проверить какую-либо неясность, возникшую в документах. Составы все время двигались в разных

направлениях, и эти мои «пробеги» под вагонами были очень опасны, но во мне развилось своеобразное ухарство. Я писал уже, что после пережитого мною по случайности избегнутого расстрела, я понял, что каждый новый день, прожитый мною, — подарок от Бога. Но здесь, на Званке, появилось во мне какое-то безразличие к своей судьбе: «Будь что будет».

Я два раза ездил в Ленинград и один раз был в ложе Мариинского театра на балете. У Александровского сада я встретил своего товарища по университету Дмитрия Львовича Щербу, который, узнав, что я «бежал из лагеря», шарахнулся от меня. Другой раз меня задержал патруль под самым Ленинградом. Я дал номер телефона, по которому патруль мог справиться, что я действительно — диспетчер на Званке, имеющий якобы право проезда в Ленинград. Патруль справился, и некий добрый человек на другом конце провода подтвердил сказанное мною (хотя, конечно, это была неправда: ездить в Ленинград без разрешения было нельзя). Кто был этот спасший меня от задержания (и, значит, нового «дела») человек, я не знаю, но благодарную память о нем храню.

Мне уже нравилось рисковать. Это был поворот явно не в нужном направлении, и избавился я от этого далеко не сразу.

А работа на Званке становилась все труднее.

Однажды пришло требование выделить в подходившем эшелоне с заключенными счетоводов, чтобы направить их в Медгору. Этапов с людьми нам переадресовывать не полагалось. Шли они без проверки. Очевидно, счетоводов остро не хватало. Такой поворот мог бы спасти от работ «землекопов» несколько человек. Я отправился на отдельный путь, где стояли вагоны, взшел в вагон и с особой остротой ощутил этот воздух горя, которым дышали все лагеря. Мне запомнилось интеллигентное лицо человека моего возраста, ответившего мне на мой вопрос о своей профессии: «Пианист-аккомпаниатор. Знаю немецкий, английский, французский». Я веско сказал ему: «Записываю вас счетоводом. Запомните это!» Этот эпизод мне почему-то часто вспоминался. Кто он был и как сложилась его дальнейшая судьба?

К счастью, больше таких поручений на распределение людей я не получал.

Весной Дмитрий Павлович сказал, что «укрепляют» диспетчерский отдел в Тихвине, так как по ветке, идущей от Тихвина, вагоны уходят от нашего распределения. Я считал этот переезд ненужным и был против него. Тогда он признался, что здесь, на Званке, у него крупные служебные неприятности, и он рассчитывает этим переездом избежать их. Мы переехали. Дмитрий Павлович быстро нашел нам комнату в Тихвине через еврейскую общину: с нами вместе должен был переехать диспетчер Бакштейн. Бакштейн неплохо говорил на идиш,



а Дмитрий Павлович притворился «гойшером» из Австрии и говорил, нещадно ломая немецкий язык, изображая «австрийский диалект» идиш. Хорошую комнату нам сдавала стрелочница с двумя детьми.

Мы переехали в Тихвин, жизнь в котором замерла тогда совершенно: ни одной новой постройки, бездействующая Тихвинская водная система, жители — в громадном большинстве — старики и старухи. Но Тихвин был красив, как красив бывает лес поздней осенью...

Там мы встретили казначея, знавшего всю семью Римских-Корсаковых, и жителей дома Корсаковых; присутствовали на празднике Тихвинской Божьей Матери и наблюдали возбуждение богомольцев по поводу совершившегося при них чуда исцеления.

На лето ко мне приехали мать и младший брат. Брат чудесно плавал, прыгал в Тихвинку прямо с моста, получив у местных мальчишек прозвище «прыгалки».

Была там и семья бывших «помещиков»: мать и две дочери. Отец у них был расстрелян, а дочери служили конторщицами на станции. Мать старалась сохранить девочкам уровень воспитания, говорила с ними по-немецки (кажется, она и сама была немкой). Дмитрий Павлович, живший в детстве в Вене, мог при встрече сказать им два-три слова (позднее он выучил немецкий прилично).

Грузов в адрес Белбалтстроя не было иногда целый день, и я даже катался на лодке и велосипеде брата. Однажды меня сшибли бегущие дрожки. Я не успел понять, в чем дело, только почувствовал тепло лошади — и через секунду лежал в песке. Песок и спас меня от переломов и синяков. Неосторожную езду я продолжил и в Ленинграде. Как-то раз на большой скорости свернул с Дворцового моста и чуть не попал под машину. Ощущение было настолько страшным, что после этого я на велосипед не садился. Дмитрий Павлович был значительно активнее меня. Летом в Тихвине он предложил мне съездить в Старую Ладугу — посмотреть церкви XII в. и крепость. На станции вместо нас мог подежурить Бакштейн. Надо было доехать до станции Волхов, а от Волхова — на пароходе до Старой Ладogi. Выезжать нужно было очень рано и лучше всего — с товарным поездом, везшим балластный песок.

Как только поезд тронулся, песок пришел в движение, стал осыпаться, слепить глаза, застревать в одежде и в волосах, а главное — мы боялись упасть вместе со «съезжавшим» под нами песком. Однако остановить поезд невозможно, и в таком страхе, засыпанные песком, мы прибыли в Волхов как раз к отходу парохода.

Не стану описывать общих впечатлений от Старой Ладogi...

Устав от прогулок, мы пошли в местную чайную, и, как ни странно, впечатление от нее стало самым сильным за тот день! Это был двухэтажный дом недалеко от

Волхова. Внизу были кухня и хозяйственные помещения. Поднявшись по крутой лестнице на второй этаж, мы попали в большое, очень светлое, с четырех сторон освещенное помещение. Стояли столы, накрытые белыми скатертями, на каждом столе — нарезанные горкой черный хлеб и ситник. По двое и по трое сидели за отдельными столиками уставшие от дел люди. Ели, разговаривали. Никакого вина или пива. Все чинно, негромко. Мы выбрали столик у окна с видом на Волхов. Нам принесли на каждого «пару чая», т. е. большой чайник с кипятком и маленький со свежесваренным чаем. Принесли сахарницу с твердыми кусками сахара, позволявшими пить вприкуску, если бы мы захотели. Как часто я думал потом, что такие чайные были у нас когда-то повсюду. И их не случайно разгромили: слишком удобно в них было разговаривать, вернее — беседовать на разные темы. А это было слишком опасно для властей. Работать и молчать, верить всему официальному — ничего более.

Мы вышли из чистой, прекрасной чайной, когда уже стемнело, и неожиданно стали свидетелями необычной рыбной ловли на Волхове. Длинные лодки бесшумно скользили по воде. На них стояли рыбаки: один с веслом — на корме, другой, с острогой, — на носу. На носу же горел факел. Сперва мы не поняли, в чем дело. Лодки уносило по течению, а фигуры людей были совершенно неподвижны. Потом мы поняли, что острогой рыбаки били крупных рыб, подплывавших к лодкам на свет факелов.

К утру мы были в Тихвине, привезя с собой свежую рыбу, которую отдали хозяйке. Сколько потом ни было у меня поездок, но эту я забыть не могу...

Как-то раз еще на Званке я вернулся домой днем. Матрена Кононовна, как всегда, покормила меня, затем потушила печь, и я пошел спать за занавеску. Сон был тяжелым, почти беспмятство. Проснулся я от страшного стука в окно у меня в ногах. Разлепив глаза, я увидел круглые от ужаса глаза Дмитрия Павловича. Жестами он приказывал мне открыть дверь, но сил идти у меня не было. Не помню уж как, но Дмитрий Павлович вошел, распахнул все окна, одел меня и потащил на улицу. Он заставлял меня ходить и ходить. Ноги у меня подкашивались, голова раскалывалась от боли, а я все ходил и ходил... Дмитрий Павлович спас меня от угара. Счастье мое, что он пришел вовремя, что сумел достучаться, войти, знал, как бороться с угаром.

Это одна из тех тысяч случайностей, благодаря которым я остался живым.

Когда я находился в Тихвине (напомню — это было летом 1932 г.), коллективизация сельского хозяйства была в полном разгаре. У нас не было газет, не было тесных дружеских связей в Тихвине, и мы плохо были осведомлены — что же происходило. И вот эта осведомленность сама пришла к нам собственной персоной...



### Судьба друзей после Соловков

Итак, настоящее оскудение мысли началось уже после лагерей. Люди рассеялись по стране. Кто умер, кто опустился. Все жили в одиночку, боялись говорить и даже думать. Уходило и здоровье.

Постараюсь вспомнить судьбу всех, кто мыслил, создавал духовные ценности, писал.

Больше всех посчастливилось тем, кто очутился за рубежом. Еще в середине двадцатых годов успел уехать за рубеж активный член мейеровского кружка Георгий Петрович Федотов. Его многочисленные труды по русской культуре, русскому православию хорошо известны, и писать мне о нем нет смысла. Те, кто был постарше и пережил войну, уехав за рубеж, — Сергей Алексеевич Аскольдов-Алексеев, Иван Михайлович Андреевский, — выпустили там свои работы. Иван Михайлович печатал преимущественно тексты курсов, которые он читал в духовной семинарии в Джорданвиле: по богословию, русской литературе, психологии, по истории церкви. Он смог рассказать и историю своего кружка, несколько, впрочем, преувеличив свою роль в духовной жизни 20-х гг.

Не прошел бесследно и философский опыт А. А. Мейера: в 1982 г. в Париже, как я уже писал, вышла его книга «Философские сочинения». В ней собраны статьи разного времени, в числе их и те, что он обдумывал при нас в Криминологическом кабинете, и те, что были им написаны в ссылке в каком-то городе на Волге. Их собрала и сохранила Ксения Анатолиевна Половцева, делившая с ним годы ссылки после лагеря и передававшая их в архив.

Удивительно беспорядочны были наши судьбы. В основном те, кто имел срок пять лет, пройдя через Белбалтлаг, получили полное освобождение и вернулись в Ленинград (впрочем, не очень надолго — до паспортизации), а те, кто имел по три года, были освобождены с последующей высылкой. Вернулись в Ленинград Э. К. Розенберг, А. С. Тереховко, Д. П. Каллистов. В. Т. Раков также получил полное освобождение, но ему негде было прописаться, и он уехал работать в Петрозаводск, часто приезжая в Ленинград. В Ленинграде осталась жить на «поруках у отца» Валя Морозова, которой в момент осуждения было 18 лет. Мы встречались, но не регулярно, разумеется. Я безуспешно искал работу. Искали и все остальные. Не принимали меня даже счетоводом мебельной фабрики на Каменноостровском проспекте у реки Карповки. Ощущение себя живущим на шее у не очень богатых родителей было гнетущим. В конце концов меня устроил отец корректором в типографию «Коминтерн». Я сильно болел язвой. Долго лежал в больницах, но это уже не так интересно.

Не побоялся меня навестить в больнице только мой университетский товарищ Дмитрий Евгеньевич Максимов, начинавший в то время заниматься литературой начала XX века. Встретился я и с другим моим университетским товарищем Владимиром Александровичем Покровским, разочаровавшимся в литературоведении и ставшим заниматься математикой, хотя ему и удалось за это время выпустить небольшую, но обстоятельную работу о Булгарине.

Когда в 1933 г., доведенный до отчаяния безуспешными попытками устроиться на работу, я поехал по приглашению Дмитрия Павловича Каллистова в Дмитровлаг наниматься на работу вольнонаемным, я зашел в Москве к Владимиру Сергеевичу Раздольскому на Большую Полянку. Он жил в помещении бывшего магазина, разгороженного занавесками на клетушки, в которых стояли кровати. Кровать Володи была отделена простынями, и сидеть нам вдвоем пришлось на его койке, так как для стула не было места. Чтобы избежать назойливого внимания сожителей Володи, мы пошли поговорить в ближайшую пивную. По дороге он мне рассказал, что работает счетоводом, что хозяйка «магазина» хочет его женить на своей дочке, что он давно ни о чем не думает, друзей в Москве не имеет. В пивной я убедился, что он пристрастился к пиву. Он быстро опьянел, мне из моих мизерных денег пришлось платить за его пиво. По дороге из пивной мы встретили вдрызг пьяного словецкого скульптора Амосова, разговаривать с которым было невозможно, хотя он нас и узнал.

В Дмитрове мне, по счастью, устроиться не удалось. Да я особенно не старался, так как лагерная обстановка произвела на меня удручающее впечатление, напомнив о худшей стороне Соловков. Но виделся я там с А. А. Мейером, работавшим тоже по счетной части, и, переночевав на стульях у моего знакомого по Медвежьей Горе Игоря Святославича Дельвига, уехал обратно. От Дельвига я узнал, что он увлекается цыганской музыкой, что цыган можно было тогда услышать только у родных художника Серова на их квартире, где он и бывал почти еженедельно. Встретил я и еще кое-кого из своих старых соловчан, все работали как проклятые, и уже никто на общие темы не говорил или не решался заговорить, чтобы не получить новый срок.

Совсем недавно я узнал от человека, занимающегося судьбой различных примечательных лагерников в архивах КГБ, что в том же Дмитровлаге в один из массовых расстрелов погибла Лада Могиланская. Он показал мне и ее последнюю фотографию из того же архива: огрубевшее лицо, неряшливая короткая стрижка. Ничто уже не напоминало ту подтянутую Ладку, создававшую на острове вокруг себя атмосферу «ладомании»...

Печальной была судьба Гаврилы Осиповича Гордона. Он и второй-то раз получил срок из-за своего желания поделиться своим «открытием» с окружающими. Когда началась всеобщая паспортизация, он в издательстве, где издавалась серия «Academia», показал окружающим статью «паспорт» в «Советской энциклопедии», в которой было сказано, что паспорт это «орудие классового угнетения» или что-то вроде того.

В пору всеобщего страха он написал мне на Соловки письмо из Свердловска, куда был сослан после первого своего заключения в Соловках. Вернувшись в Москву, он пробыл в ней недолго. При втором десятилетнем сроке он написал мне письмо из лагеря на Волге, в котором писал, что живет «отлично», пишет историю создания какого-то водохранилища, а заодно описывает и свою жизнь. «Отличная» жизнь его окончилась однако смертью в лагере от чистого голода.

В перерыв между его ссылкой в Свердловск и новым арестом в Москве он приезжал ко мне в Ленинград показать город младшей своей дочери Ирине. Он остановился на Лахтинской улице у нас, а дочку устроил к своей тетке, жившей на Петровском острове в Приюте для престарелых артистов имени Савиной, — в том самом приюте, где в церкви служил в свое время отец Викторин, объединявший вокруг себя много молодежи. В церкви еще была служба, но отец Викторин был арестован. Гаврила Осипович поразил меня своим знанием церковного богослужения. Но когда я через год встретил Ирину Гавриловну в московском гастрономе на Большой Полянке, она побоялась со мной разговаривать при людях, и вот снова более чем через полвека мы встретились с ней уже в Узком в 1989 г. Как долго длятся человеческие связи! Гаврила Осипович в невероятных условиях Дмитровлага написал «Повесть о моей жизни» — примерно 25 авторских листов. Эти воспоминания, по словам его дочери, содержат сотни фамилий людей, с которыми сталкивала его жизнь, и должно быть, необыкновенно интересны.

В самом конце 1933 г. пришла ко мне и моим родителям на Лахтинскую улицу Ю. Н. Данзас. Бодро поднялась на пятый этаж и рассказала, что работает делопроизводителем в каком-то гараже, ожидая отъезда за границу, но имеет и договор на перевод Рабле с Л. Б. Каменевым, заведывавшим в то время в Москве издательством художественной литературы (не помню — как оно в те времена точно называлось). Она добилась по освобождению из лагеря свидания с Горьким, за которого когда-то хлопотала об его освобождении из Петропавловской крепости. Горький, очевидно, чувствовал себя обязанным принять участие в судьбе Ю. Н. Данзас. Она даже работала у него





в помещении Консерватории, где был прекрасный оперный зал (мне кажется, что именно там пела Дельмас в опере «Кармен», когда ею стал увлекаться Блок). Играл Ильинский. Вся постановка была воздушной. Дорога, по которой шли Счастливец и Несчастливцев, висела в воздухе на тросах. Рыбку Ильинский ловил из воздуха. Объяснение в любви с Гурмыжской происходило на «гигантских шагах». Сухов радовался каждой находке Мейерхольда, и иметь его соседом в театре было сущим удовольствием.

К сожалению, его пребывание в Ленинграде по возвращении из Бийска, где он находился в ссылке, было коротким. Его опять куда-то угнали, и умер он перед самой войной от рака в каком-то маленьком городке.

Особо мне хочется рассказать о судьбе Феди Розенберга.

Когда мы оба вернулись с Беломоробалтийской стройки в Ленинград, я оказался в маленькой квартире на Лахтинской улице (вернее, в трех комнатах), куда переехали мои родители во время моей отсидки. Федя приходил к нам очень часто. Часто приходили Валя Морозова, Володя Раков, сестра Толи Тереховко Зоя, дядя Коля, дядя Вася и многие содельцы. Федя вносил оживление, рассказывал о книжных новинках, читал стихи, флиртовал с Зоей и Валей. Все это мне очень нравилось, но продолжалось это недолго. Началась выдача паспортов. Не дали паспорта Феде, Толе Тереховко, Володе Ракову. Федя уехал в Мурманск, где его устроила на работу Софья Марковна Левина, Толя Тереховко уехал в Боровичи, Володя Раков в Петрозаводск. Стало опасным собираться, особенно бывшим однодельцам. Как устроилось со мной, я расскажу в дальнейшем. Вскоре, однако, Федя и Софья Марковна вернулись в Ленинград. Во время блокады у нас уже не было сил навещать друг друга. Мы вынуждены были уехать в Казань в конце июня 1942 г. Мы расстались не простившись. Федю, несмотря на глухоту, забрали в какое-то «латышское» ополчение, откуда его все же вскоре освободили. После войны мы с Зиной сильно нуждались в деньгах и брали всякую работу в издательстве: брали рукописи на «монтажку». Это значило, что мы должны были заклеивать маленькими кусочками бумаги грязные после исправления места, придавать рукописям чистый и удобочитаемый вид. Федя, имевший какое-то отношение к изданиям Финансового института, подкармливал нас, давая возможность прирабатывать на корректуре.

В Феде было редкое сочетание — веселости, доходящей иногда до легкомыслия, и исключительного трудолюбия, чувства долга. Он засиживался иногда на работе допоздна и вместе с тем находил время для шутки. В нем был дух коллекционера. Перед своим арестом, работая в налоговом управлении,







бана. Еще Назимов, под начальством которого я работал несколько дней на общих работах в конце 1928 г., предположил, что это не барабан, а нижняя каменная часть шатра. Наличие высокого как бы двусоставного шатра, снизу каменного, а сверху деревянного, подтверждалось некоторыми изображениями Соловецкого монастыря в миниатюрах и иконах XVII в. Такой шатер нужен был, чтобы сильно увеличить высоту храма, который должен был служить ориентиром для судов, направлявшихся к монастырю. И действительно, Светлана Васильевна Вереш после моего отъезда обследовала «барабан» и нашла важнейшую деталь: глубокие гнезда для стоймя стоящих бревен второй, деревянной части шатра. Однако реставратор категорически, не приводя развернутой аргументации, отказывалась восстанавливать шатер и восстановила нелепую луковицу (нелепую, разумеется, для данного храма). Вопрос о сносе Святых ворот — их парадной наружной части — тогда еще не возникал. Я добился успеха только в одном: убедил не счищать красивейший красный лишайник с огромных валунов, из которых были построены монастырские стены. Почему-то реставраторы думали, что лишайник разрушает камень...

Еще одна идея относительно Соловков владела мною тогда и не оставляет меня и сейчас. В сущности, монастырь построен на плотине — частично насыпной из песка, частично каменной. Это позволило в XVI в. сильно поднять уровень Святого озера и воспользоваться водой озера для различных технических целей: вода промывала канализацию, бежала по водопроводам, двигала различные механизмы на портомойне, в хлебопекарне и т. д. Строители монастырских сооружений учитывали зыбкость насыпного грунта и делали широкие основания для стен соборов, создававшие своеобразие соловецких зданий, покатость стен, становившихся более тонкими кверху. Наклон в сторону моря всего монастырского участка особенно заметен на площади у Преображенского собора. Это вызвало и то, что верх собора поставлен с резким сдвигом к востоку, к озеру, и опирается на массивную алтарную стену и два столба, т. е. конструкция собора учитывает наклон всего участка монастыря в сторону моря.

Одним словом, весь монастырь построен как гигантское гидротехническое сооружение, при этом «многофункциональное». Так вот, идея моя состояла в том, чтобы сохранить монастырь в неприкосновенности как памятник не только религиозный и историко-природный, но и как единственный в нашей стране музей русской техники XVI — XVII вв. К этому можно было присоединить монастырскую кузницу, кирпичный завод, сельскохозяйственные сооружения и т. д., и т. д.



Приехал я на Соловки, когда остров окутывал густой туман. «Татария» гудела через равные промежутки времени, чтобы не наткнуться на какое-либо судно. Только вплотную подойдя к пристани, стало видно здание Управления Соловецкого лагеря особого назначения. Уезжал же я с Соловков в чудную солнечную погоду. Остров был виден во всю его длину. Не стану описывать чувств, которые переполняли меня, когда я осознал грандиозность этой общей могилы — не только людей, каждый из которых имел свой душевный мир, но и русской культуры — последних представителей русского Серебряного века и лучших представителей Русской церкви. Сколько людей не оставило по себе никаких следов, ибо кто их и помнил — умер. И не умчались соловчане на юг, как пелось в соловецкой песне, а по большей части погибли либо здесь же на островах Соловецкого архипелага, либо на Севере в опустевших деревнях Архангельской области и Сибири.

### Последний раз на Соловках

Последний раз я ездил на Соловки со съемочной группой телевидения Владислава Борисовича Виноградова для съемок фильма обо мне «Я вспоминаю».

Все было удачно. Милая дружная съемочная группа молодежи, чудная летняя погода, удачные, как я считаю, съемки. Но Соловки оставили во мне тяжелое впечатление. Святые ворота Соловецкого кремля были снесены, оранжево-красного лишайника стало меньше — верный признак того, что воздух стал хуже (появились машины), на месте Онуфриевского кладбища выросли дома, в том числе и голубой дом на месте расстрелов 1929 г. Дорога к Переговорному камню стала слишком широкой, в каких-то местах ее появились карьеры для забора песка. На Большом Заяцком острове Петровская церковь лишилась своей обшивки, содранной для топлива. Чрезвычайные разрушения произошли с памятниками на Анзере, в Муксалме, в Савватиеве.

Реставрация подвигалась. Различные по размерам, но совершенно одинаковые по форме луковицы, крытые лемехом, не подходившим к монументальным соловецким церквам, появились на всех барабанах оставшихся церквей. И это делало монастырь каким-то безличным, нивелированным. Соловки-монастырь, Соловки-лагерь, Соловки-тюрьма еще более отступили в царство забвения. Один памятник для всех сотен могил, рвов, ям, в которых были засыпаны тысячи трупов, открытый уже после моего последнего посещения Соловков, должен, как мне представляется, еще более подчеркивать обезличивание, забвение, стертость прошлого. Увы, тут уже ничего не сделаешь. Надо призвать свою память, ибо помнить прошлое Соловков стало уже больше некому.

### Послесловие

Как заметил читатель, я прежде всего пишу о людях. Люди — самое важное в моих воспоминаниях. Стремясь восстановить их индивидуальность, я выполнял свой долг — сохранить о них память. Сколько же их было? Как они были разнообразны и как интересны! Какую ценность представляет человеческая личность! Мне надо было бы систематически вести записи, ибо ради этих встреч стоит жить. И в основном люди — хорошие. Встречи в детстве, встречи в школьные и университетские годы, а затем время, проведенное мною на Соловках, подарили мне огромное богатство. Его не удалось удержать в памяти все целиком. И это самая большая неудача в жизни. Остается надеяться, что мои воспоминания о них — не единственные. Но когда подумаешь о том, сколько же хороших, душевно богатых людей не оставило о себе никакой памяти, становится страшно.